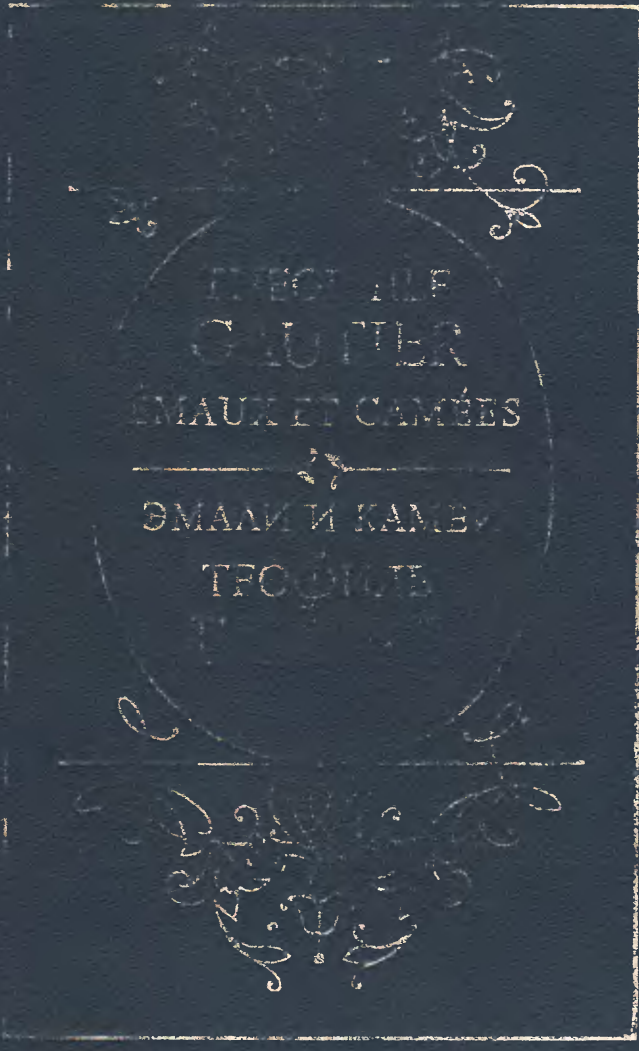




THEOPHILE
GAUTHIER
ÉMAUX ET CAMÉES

ЭМАЛИ И КАМЕИ
ТЕОФИЛЬ

*Émaux
et Camées* THEOPHILE
GAUTIER
—•—
ТЕОФИЛЬ
ГОТЬЕ *Эмали
и камни*

THEOPHILE
GAUTIER
ÉMAUX ET CAMÉES



MOSCOU

ÉDITIONS «RADOUGA»

1989

ТЕОФИЛЬ
ГОТЬЕ
ЭМАЛИ И КАМЕИ



МОСКВА
"РАДУГА"

1989

Составление, предисловие и комментарии Г. К. Косикова
Оформление Н. Н. Каминского
Редактор К. Н. Атарова

ГОТЬЕ Т. Эмали и камеи: Сборник / Сост. Г. К. Косиков. — М.: Радуга, 1989. — На фр. языке с параллельным русским текстом. — 368 с.

В параллель лирическим миниатюрам, составившим поэтический сборник Т. Готье, положены переводы Н. Гумилева. В приложении широко представлены другие переводы этих стихов, сделанные русскими и советскими поэтами и переводчиками.

Издание сопровождается предисловием и комментариями.

© Составление, предисловие и комментарии издательство
"Радуга", 1989

Г $\frac{4703010200 - 523}{031 (01) - 89}$ 495 — 89

ISBN 5-05-002427-7



ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ, АВТОР "ЭМАЛЕЙ И КАМЕЙ"

Имя едва ли не каждого крупного художника окружено легендой. Легенда о Готье – это легенда об убежденном стороннике и теоретике "искусства для искусства", о блестящем, "непогрешимом", но холодном мастере, озабоченном лишь формальным совершенством своих творений, отрешенном от жизни и ее тревог.

В любой легенде есть доля истины. Разве не сам Готье – вдохновленный отголосками немецких эстетических учений о произведении искусства как о "неутилитарном", "завершенном в самом себе" (К. Ф. Мориц) объекте, как о "целесообразности без цели" (Кант) – на протяжении всей своей жизни твердил: "Прекрасно только то, что ничему не служит; все полезное уродливо"? Разве не он с каким-то сладостным надрывом обожествлял "красоту", "форму", "стиль"? И разве не он, подражая автору "Западно-восточного дивана", с неподдельным облегчением захопывал ставни своих "Эмалей и камней" от бушующего снаружи "урагана"?

Все это так. Однако не сам ли Готье, в полном противоречии с идеей "бесполезного искусства", писал: "Жизнь – вот наиглавнейшее качество в искусстве; за него можно все простить"? В подобных противоречиях нетрудно запутаться, если забыть, что судить о писателе по его теоретическим декларациям – дело по меньшей мере сомнительное. Кроме того, как раз с теоретической точки зрения доктрина Готье (который не был эстетиком ни по призванию, ни по образованию) оказывается весьма уязвимой: Сартр как-то заметил, что тезис об "искусстве для искусства" – это результат "глупейшего" истолкования хорошо известного

феномена — феномена эстетической дистанции, всегда существующей между произведением и читателем.

Стоит обратить внимание и еще на одно обстоятельство: образ бесстрастного и безупречного чародея слов, замороженного абстрактной красотой, плохо вяжется с колоритным жизненным обликом Готье — с обликом темпераментного и громогласного южанина, остроумного, ироничного, жизнерадостного силача, атлета, боксера, добродушного гурмана и бонвивана, влюбчивого, сентиментального, подверженного всем соблазнам жизни, — короче, с обликом того "доброго Тео", каким он остался в памяти всех, кто его знал.

Пруст, правда, справедливо заметил, что художественное произведение есть "продукт иного "я", нежели то, которое проявляется в наших привычках, в обществе, в наших пороках", и тем не менее трудно сомневаться, что творческие импульсы писателя каким-то сложным образом связаны с его жизненными импульсами. Готье был противоречив. Записной романтик, он прославился восторженными панегириками в адрес классического греческого искусства и вошел в историю литературы как прямой предшественник парнасцев; человек простых вкусов, он питал слабость к аристократам и к аристократизму; явная анархическая жилка каким-то образом уживалась в нем со строгим чувством порядка, а новаторская смелость — с приверженностью к традициям. Если мы хотим уловить единство личности Готье, то должны в единый фокус свести все эти его ипостаси, поняв, что они противоречат друг другу лишь по видимости.

* * *

Готье родился 30 августа 1811 г. в г. Тарбе, на юге Франции, но уже в раннем детстве был перевезен родителями в Париж, где семья, имевшая столичные связи, решила прочно обосноваться. После солнечных Пиренеев большой серый город произвел на юного Тео угнетающее впечатление (впоследствии он любил рассказывать, как ребенком, не вынеся унылого вида Парижа, будто бы пытался покончить с собой), так вполне и не изгладившееся до конца его жизни.

В лицее Готье не доучился: карьера чиновника его не прельщала, а импульсивная и вольнолюбивая натура влекла его к "свободному художеству": он только не знал, что выбрать — то ли, вслед за своим лицейским другом Жераром Лабрюни (будущим Жераром де Нервалем), поэзию, то ли живопись, уроки которой он брал у художника Луи Эдуарда Риу. Готье был даровит, но упорством в труде не отличался и, быть может, поэтому вскоре оставил профессиональные занятия живописью, хотя надо сразу сказать, что его интерес к изобразительным искусствам был далеко не случаен, сыграв в его жизни и творчестве важнейшую роль.

Избрав поэзию, Готье должен был совершить следующий шаг — выбрать между "классиками" и "романтиками", чьи сражения сотрясали французскую литературу второй половины 1820-х гг. И хотя, как обнаружится позже, античная классическая традиция станет предметом поклонения со стороны Готье, в 1830 году, движимый чувством нонконформизма, он решительно становится на сторону бунтарей-романтиков. Обласканный самим Гюго, восемнадцатилетний Тео явился на премьеру "Эрнани" (25 февраля 1830 г.), облачившись в ставший впоследствии знаменитым "красный жилет", который, по замыслу его владельца, должен был подогреть негодование "классиков", заполнивших партер и ложи Французского театра. Эта цель была благополучно достигнута, и романтическая среда признала Готье "своим".

Правда, время для собственного литературного дебюта юный романтик выбрал довольно неудачно. Первый стихотворный сборник Готье, непритязательно озаглавленный "Стихотворения", вышел в самый разгар июльской революции 1830 г. Но хотя в Париже, покрытом баррикадами, никто не обратил внимания на сочинение безвестного неопита, тот не пал духом и, увеличив сборник почти в два раза (за счет мелких стихотворений и поэмы "Альбертус"), вторично издал его в октябре 1832 г. под названием "Альбертус, или Душа и грех, теологическая поэма". Впрочем, Готье и тут не повезло. Если первое его выступление заглушили уличные выстрелы, то второе — стоны умирающих парижан, пораженных эпидемией холеры, так что книга, изданная автором за собственный счет, вновь осталась нераспроданной.

Известность пришла к Готье лишь в 1836 г., но не как к поэту, а как к прозаику, выпустившему роман "Мадемуазель де

Мопен". К этому времени Готье был уже довольно хорошо известен в литературной среде (прежде всего как художественный критик, успешно подвизавшийся на страницах многих периодических изданий) и сам был душой компании молодых романтиков-бунтарей – начинающих поэтов, драматургов, художников, скульпторов, – поселившихся в тупичке Дуайеннэ неподалеку друг от друга. Нерваль, Петрюс Борель, Арсен Уссе, Филоте О'Недди, Жозеф Бушарди, Жан де Сеньер, Камиль Рожье – вот "галантная богема", среди которой Готье провел самые безмятежные годы своей жизни.

Издав "Мадемуазель де Мопен" – книгу, бившую по нервам обывателя-моралиста и снабженную к тому же дерзким предисловием, – Готье не только привлек к себе внимание таких серьезных писателей, как Бальзак, но и вызвал негодование добропорядочной публики: лавочники на улице показывали ему кулак и грозили судом.

Это был успех, но Готье не сумел его закрепить. Он был пассивной натурой и всегда предпочитал плыть по воле волн, а не прокладывать свой собственный маршрут: 1836 год оказался для него не только годом триумфа, но и годом закабаления: литературный делец Эмиль де Жирарден, вполне оценивший легкое перо Готье-критика, его блестящие очерки о Вийоне, Теофиле де Вио, Сирано де Бержераке, Скарроне, впоследствии вошедшие в сборник "Гротески" (1844), предложил ему вести отдел художественного фельетона в только что созданной газете "Ла Пресс". Готье подписал постоянный контракт, и с этого момента началась его журналистская каторга, не прекращавшаяся до самой смерти: проработав у Жирардена до 1854 года, Готье перешел затем в правительственную газету "Монитёр универсель" (переименованную позднее в "Журналь оффисьель"): "волны жизни" в конце концов забросили бунтаря в непосредственную близость к императорскому семейству.

Важнее, однако, другое. "Пролетарий пера", как он сам себя называл, Готье писал впечатляюще много: 75 статей в 1836 году, 96 – в 1837, 102 – в 1838... К тому же он постоянно путешествует (Бельгия, Испания, Алжир, Северная Италия, Мальта, Константинополь, Греция...) и из каждой поездки привозит массу путевых зарисовок. К 1852 году Готье был автором 1200 фельетонов

(откликов на всевозможные художественные выставки, рецензий на балетные и оперные постановки, многочисленных путевых очерков, подобных книге "За горами", изданной после посещения Испании в 1840 г.) и т. п. Вся эта продукция и составляет большую часть творческого наследия Теофиля Готье; в 34-томном "полном" собрании его сочинений, выпущенном в 1883 г., она занимает почти 30 томов.

Авторитет Готье как художественного критика был чрезвычайно высок, однако в силу поразительной непрактичности и тогда уже считавшихся старомодными представлений о журналистской "чести" он не умел "сделать деньги" на своих фельетонах (за что Жирарден, выжимавший из Готье все соки, его же и презирал). Главное же состояло в том, что, убивая время на поденщину, он почти не занимался литературным творчеством и как писатель был мало-помалу благополучно забыт. Сборники стихов "Комедия смерти" (1838), "Испания" (1843), несколько небольших рассказов и повестей ("Ночь, дарованная Клеопатрой", 1845; "Царь Кандавл", 1847; "Милитона", 1847), ряд прозаических "капризов" и "фантазий" — вот, пожалуй, и все, с чем пришел Готье, которому перевалило за сорок, к 1852 году, когда вышло первое издание "Эмалей и камней".

На этот раз справедливость восторжествовала. Сборничек, включавший 18 стихотворений, был тем не менее замечен и раскуплен за несколько месяцев. Однако успех не вселил в "доброе Тео" новых творческих сил, не побудил его всерьез взяться за стихи или прозу. Купаясь в долгожданной славе, он довольствовался тем, что раз в несколько лет переиздавал "Эмали и камней", добавляя туда несколько новых стихотворений и в конце концов доведя их число до 47. Этого было достаточно, чтобы время от времени напоминать о себе как о поэте, но все же, сибаритствуя, Готье весь свой талант продолжал растрачивать на заказную поденщину. Сборники статей "Изящные искусства в Европе" (1855) и "Современное искусство" (1856), написанные по следам Всемирной выставки 1855 г., книга "Сокровища искусства древней и современной России" (1861), явившаяся результатом поездки в Москву и в Петербург, — вот что создал Готье в 1850-е гг.

Между тем время бежало, и, приближаясь к своему 50-летию,

Готье все с большей горечью начинал понимать, сколько времени он упустил и сколько сил вложил в свои прекрасные, но эфемерные однодневки-фельетоны. Лишь в конце 1860 г. он заставляет себя сесть за давно задуманный и давно обещанный роман "Капитан Фракасс". Постоянно отвлекаемый журналистскими хлопотами, он все-таки упорно печатает "Фракасса" из номера в номер в двухнедельном журнале "Ревю насьональ э этранжер" в течение 1861 – 1863 гг., а закончив, немедленно выпускает отдельным изданием.

Роман, имевший у публики бешеный успех, тем не менее оказался последним заметным художественным произведением Готье (слабость романа "Спирит", написанного в 1865 г., он понимал сам). Однако он настолько упрочил репутацию писателя, что пробудил в нем честолюбивые замыслы, и Готье стал подумывать об избрании в Академию.

Впрочем, несмотря на все свои профессиональные заслуги, несмотря на вхожесть в императорскую семью и даже на поддержку могущественного академика, литературного критика Сент-Бёва, простодушный и "неполитичный" Готье, сохранивший фрондерские замашки своей романтической молодости, открыто восхищавшийся все еще считавшимися "на подозрении" Делакруа и Ламартином и водивший дружбу с совсем уж "неприличным" Бодлером, не выглядел "подходящей кандидатурой" в глазах консервативной Академии. Он баллотировался четырежды (в 1862, 1867, 1868 и 1869 гг.) и четырежды проваливался.

Неудачи на общественно-литературном поприще сделали Готье раздражительным и злым; к тому же они сопровождались внезапным и быстрым упадком физических сил: "Геркулес Тео", чье легендарное здоровье было некогда предметом всеобщей зависти, старел и на глазах угасал от поразившей его болезни сердца. Последней его большой работой стала "История романтизма" (изданная в 1874), которую он посвятил своей юности, двум счастливым годам, проведенным в тупичке Дуайенне с друзьями, большинства из которых уже не было в живых. Его собственный срок также подходил к концу, и книгу завершить ему не пришлось.

21 октября 1872 г. Готье скончался, успев сделать в литературе ничтожно мало по сравнению с тем, на что он был способен и что сулило его дарование. Остались невоплощенные проекты.

Долгие годы Готье вынашивал замысел "Истории Венеции" в XVIII веке", надеялся продолжить "Гротески", написать несколько "буффонных и фантастических" поэм, повестей и романов, создать собственную "Федру" – все это пошло прахом. Публика и поныне с удовольствием читает "Мадемуазель де Мопен" и "Капитана Фракасса" – и это справедливо. И все же в большую историю литературы Готье вошел как автор всего одного – правда, блестящего и, главное, сугубо своеобразного – сборника стихов, носящего название "Эмали и камней".

* * *

"Поменьше медитаций, празднословия, синтетических суждений; нужна только вещь, вещь и еще раз вещь"¹. В этих словах Готье – ключ к природе его писательского таланта. Достаточно пробежать глазами любое его стихотворение, заглянуть в любую новеллу, роман, путевой очерк, чтобы понять, что ему было дано абсолютное чувство материального мира. По воспоминаниям Максима Дю Кана, Готье обладал феноменальной наблюдательностью и зрительной памятью. На художественных выставках он почти никогда не делал пометок, а в путешествиях старался обходиться без записных книжек: блокноты, дневниковые записи – во всем этом он мало нуждался, потому что собственную память умел листать взад и вперед, как открытый блокнот, и мог без видимого труда – даже по прошествии десятка лет – выразительно обрисовать подробности уличной сценки, подсмотренной мимоходом, где-нибудь на пути через Румынию, описать испанского погонщика мулов или заснеженные купола кремлевских соборов при лунном свете.

Работал Готье с удивительной легкостью – без черновиков и поправок. "Муки творчества", поиски "нужного слова", флоретовская каторга "стиля" были чужды и непонятны ему. Подлинное мученье состояло для Готье лишь в том, чтобы заставить себя

¹Gautier T. Émaux et Camées. Texte définitif (1872) suivi de Poésies choisies avec une esquisse biographique et des notes par Adolphe Boschot. P., Garnier, 1954. P. XLIII.

подойти к письменному столу ("Ни в коем случае не следует класть голову на плаху до того, как пробьет твой час"), но, взявшись за перо, он менее всего походил на вдохновенного поэта-романтика с всклокоченной шевелюрой и безумным взором, вперенным в неведомую даль, — "творца", в безнадежном отчаянии ощущающего пропасть между бесконечной глубиной своего внутреннего мира и "конечностью", убогим несовершенством тех выразительных средств, какими он располагает. Напротив. "Я работаю степенно. — говорил Готье Гонкуррам, — словно уличный писец <...>. Я продвигаюсь вперед не спеша, но все же продвигаюсь, потому что, видите ли, не стараюсь улучшить то, что написал. Статья или даже отдельная страница должны рождаться с первой попытки <...>. Я подбрасываю фразы в воздух, словно... котят, ибо уверен, что они непременно упадут на все четыре лапы"¹.

Действительно, не только фразы и слова, но и целые рассказы, очерки, стихотворения всегда падали под пером Готье "на четыре лапы", и причина в том, что врожденный ему "инстинкт предметности" заставлял его полностью растворяться в изображаемых объектах; ему не приходилось "оттачивать" выражения — они были точны с самого начала; любые описания у Готье настолько зримы, выпуклы и убедительны, что возникает ощущение, будто не художник говорит о вещах, а сами вещи "высказывают" себя, принимая единственно возможный, естественный для них облик.

О каких же "вещах" рассказывает Готье в своих стихах, каковы его тематические предпочтения? "Это прежде всего миниатюрные интерьеры, излучающие приветливость и спокойствие, небольшие пейзажи во фламандском вкусе, с мягким мазком и приглушенными тонами <...> это равнины, как бы растворяющиеся в синеватых далях, пологие холмы, меж которых вьется дорога, дымок, поднимающийся над хижинкой, ручей, журчащий под покровом кувшинок, куст, обсыпанный красными ягодами, цветок маргаритки с дрожащей на нем каплей росы"² —

¹Goncourt. Journal. T. VII. Monaco, Fasquelle et Flammarion, 1956. P. 106.

²Gautier T. Poésies complètes. T. I. P., Charpentier, 1876. P. 5-6.

уже из этого перечисления должно быть ясно, что над всеми органами чувств у Готье господствует одно — зрение — и что моделью для его поэзии служат изобразительные искусства.

Так оно в действительности и есть. Цель Готье — словами создать чувственную картину, дать наглядный образ предметов, причем, стремясь к этой цели, поэт выступает сразу в трех ипостасях — как умелый рисовальщик, знающий, что такое четкая линия, твердый штрих, законченная композиция, как живописец-колорист, обладающий безошибочным чувством цвета, уверенно разбрасывающий по полотну выразительные краски (лаконичный и оттого емкий эпитет играет в его стихах роль живописного мазка), и, наконец, как ваятель (недаром излюбленное слово Готье — "резец"), прекрасно знающий, какой эффект способна создать объемность и пластика скульптурной формы. "Словесная живопись" — так определили поэзию Готье уже его современники.

И все же жестоко ошибется тот, кто решит, что Готье рисует с натуры, старается донести непосредственное впечатление от увиденного. Дело обстоит прямо противоположным образом: Готье не любил природу, в особенности "дикую" природу, в чем сознавался совершенно открыто и даже не без бравады: "Я ненавижу деревню: всё какие-то деревья, земля, травка-муравка! Какое мне до них дело? Они выглядят эффектно, согласен, но скуку наводят смертную <...>, я отдаю предпочтение картине перед воспроизводимым на ней оригиналом <...>"¹. И вправду, будучи вполне равнодушен к живому пейзажу, Готье способен был испытать неподдельное волнение, глядя на его живописное изображение, а сравнивая женщину из плоти и крови с ее мраморным изваянием, бывал готов присудить пальму первенства мертвой статуе. Главное же состоит в том, что здесь мы сталкиваемся не только с художественными вкусами Готье, но и с основополагающим принципом его поэтики.

Принцип этот есть не что иное, как описание, но не непосредственное описание естественного предмета в его, так сказать, первичном бытии, а описание его "искусственного", "вторичного" по своей природе изображения, созданного гравером, живописцем,

¹Gautier T. Les Jeunes-France. Romans goguenards suivis de Contes humoristiques. P., Charpentier, 1875..P. IX.

скульптором и т. п. Типичный пример – стихотворение "Феллашка", "изюминка" которого в том, что оно воссоздает не реальный облик египетской крестьянки, каким он открылся (или мог открыться) самому Готье, а лишь живописный образ этой крестьянки, явленный поэту на акварели принцессы Матильды. Таким образом, исходный прием Готье – это передача словом уже готового изображения, перевод той или иной темы с языка живописных или пластических искусств на язык словесный – на язык литературы, поэзии. Короче, стихотворения Готье тяготеют к тому, чтобы быть изображениями других изображений.

Эта особенность, резко выделявшая поэта среди его современников, не многими из них была правильно понята. Так, отмечая, что Готье "заставляет читателя видеть оригиналы, с которых он писал, через посредство другого искусства – живописи", что он кладет в основу своих стихотворений "готовый сюжет, художественное впечатление, уже схваченное артистом", известный историк литературы Г. Лансон способен был высказать по этому поводу лишь неприяженное недоумение, а если и пытался найти для поэзии Готье какое-то разумное объяснение, то видел его в "посредственном" характере ума человека, который оказался не более чем "заблудившимся в литературе живописцем"¹.

Действительно, сознательная установка на "словесную живопись" и уж тем более на словесное описание изображений – явление не слишком частое и, на первый взгляд, даже периферийное для европейской литературы двух последних столетий. Однако в данном случае корни поэтики Готье следует искать не в его современности, к которой он относился весьма и весьма настороженно, а в античности, которую он неплохо знал и, главное, страстно любил.

Такие стихотворения Готье, как "Феллашка", генетически восходят к эллинистическому жанру экфрасиса (экфразы)². Экфрасис, будучи, по определению одного римского ритора,

¹Лансон Г. История французской литературы. Современная эпоха. М. Издание Ю. И. Лепковского, 1909. С. 108 – 110.

²См.: Брагинская Н. В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации) // Славянское и балканское языкознание. М., Наука, 1977. С. 259 – 283.

"описательной речью, отчетливо являющей глазам то, что она поясняет", может пониматься как в широком, так и в более узком смысле слова. В широком смысле экфрасис — это словесное описание любого рукотворного предмета, будь то храм, дворец, щит, чаша, статуя или картина. В более тесном смысле это описание не самого по себе предмета, а предмета, несущего изображение другого предмета, группы предметов, какой-либо сценки, сюжета и т. п. (классический пример — описание щита Ахилла в "Илиаде"). Наконец, следует указать на связь экфрасиса с античным жанром эпитафий ("надпись на предмете"), представлявшей собой стихотворение, говорящее о какой-либо вещи; таковы, например, стихотворные рассуждения о предметах изобразительных искусств, отклики на произведения словесности и др.

В той или иной форме экфрасис и эпитафия жили в европейской культуре вплоть до конца XVIII в., то есть до того момента, когда традиции античной литературы были подорваны (но не уничтожены) "романтической революцией" в искусстве. Готье, как бы через голову своих современников, подхватил прерванную было нить традиции¹ — подхватил, но при этом, разумеется,

¹Интересна судьба этой традиции в русской литературе. Примером эпитафий в XIX в. могут служить "антологические" стихотворения Пушкина, в частности, его "Царскосельская статуя" ("Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила..."); любопытно, однако, что эта эпитафия в форме элегических дистихов написана на статую "Молочница" (по басне Лафонтена "Молочница и кувшин"), что позволяет расслышать в ней иронические нотки. Пример открытой пародии на греческую эпитафию являет собой "Древний пластический грек" Козьмы Пруткина. Уже в XX в. Н. Олейников создал цикл пародийных экфрасисов "В картинной галерее"; ср. его "Описание еще одной картины": "Мадонна держит каменный цветок гвоздики // В прекрасной полусогнутой руке. // Младенец, сидя на земле с букетом повилики, // Разглядывает пятнышки на мотыльке. // Мадонна в алой мантии и синей ризе, // И грудь ее полуобнажена. // У ног младенца поместились на карнизе // Разрезанный лимон и рюмочка вина". Даже эти отрывочные примеры свидетельствуют о том, что ни жанр эпитафии, ни жанр экфрасиса не были забыты в литературе двух последних столетий: напротив, они оказывались объектом довольно активной рефлексии, в частности, становились предметом стилизации и пародии.

существенно переосмыслил: в описаниях Готье полностью стерта важнейшая функция античных экфраз (быть толкованием таинственного смысла изображения) и эпиграмм (быть риторическим "упражнением для рассудка"), а на первый план выдвинута зримость самого изображения, почти визионерская интенсивность зрительного восприятия.

Среди стихов Готье в первую очередь следует выделить "чистые" экфрасисы – прямые описания тех или иных произведений живописи, скульптуры; таково, например, помимо упоминавшейся "Феллашки", стихотворение "Нереиды", непосредственно "срисованное" с акварели Теофиля Квятковского. Далее, в "Эмалях и камнях" можно найти и целый ряд пьес о предметах, "на предмет"; это оба "Этюда рук" (где особенно выделяется "Ласенер" – выразительное описание мумифицированной кисти руки, принадлежавшей зловещему убийце), "Подвески для сердец" ("Локоны"), "Чайная роза", "Ностальгия обелисков", где, следуя одному из канонов древней эпиграммы, изображаемые предметы говорят от первого лица ("Я – обелиск, отъят от брата..." – *Пер. Ю. Даниэля*), и др. В отдельный разряд можно сгруппировать пейзажные зарисовки ("Зимние фантазии", "Дым", "Рождество", "Ключ", "Облако" и др.); в них с сугубой отчетливостью проявляется отмеченная выше особенность поэтики Готье: имея перед глазами вполне реальный пейзаж (зимний Париж, сад Тюильри, дымок, поднимающийся над сельской хижинкой, и т. п.), он первым делом как бы уничтожает его первоизданность, превращает – с помощью собственной фантазии или за счет художественных реминисценций – в живописное полотно и лишь затем "переписывает" получившуюся картину словами, переводит ее на "холст" собственного стихотворения: природа доступна ему лишь тогда, когда преображена в произведение искусства, в художественную вещь. Наконец, особо следует выделить группу стихов, где предметом экфрасиса являются уже не реальные или воскрешенные воображением предметы (цветы, принадлежности гуалета, художественные безделушки, статуи в музее, египетские или греческие храмы и т. п.), а литературные произведения. Так, знаменитое стихотворение "Кармен" есть не что иное, как "репродукция" уже готового литературного образа – образа цыганки, созданного в одноименной новелле П. Мериме; в стихотворении

"Инес де лас Сьеррас" Готье следует сюжету рассказа Ш. Нодье, а в "Рондалле" пастиширует испанскую любовную серенаду. Во всех подобных случаях имеет место литературное описание другого, предшествующего, литературного описания, тавтологический, на первый взгляд, перевод с языка литературы на язык литературы.

Уже из сказанного можно заметить, что поэзия Готье строится на определенном напряжении между "жизнью" и "искусством" и на стремлении снять это напряжение, но снять не за счет слияния искусства с жизнью, а, напротив, за счет растворения жизни в искусстве, уподобления реальных предметов произведениям живописи, скульптуры, литературы и т. д. Показательный пример – "Поэма женщины", призванная восславить прелести известной парижской красавицы г-жи Сабатье. Однако читатель не может не обратить внимания на то, что в довольно длинном стихотворении, состоящем из 76 строк, перед ним даже и на секунду не открывается подлинный облик этой женщины; она все время предстает в чьем-либо образе – то в образе скульптуры, изваянной Апеллесом или Клеоменом, то в образе стилизованной восточной "султанши" (или "грузинки", расprostертой в сладострастной позе), то в образе "одалиски" Энгра, то, наконец, в виде статуэтки Ж.-Б. Клезенже, представляющей женщину, умирающую от укуса змеи. Реальный предмет не раскрывается у Готье, но он и не скрывается; скорее, он заслоняется его метафорическими субститутами: г-жа Сабатье чем-то напоминает "одалисок" Энгра, а танцовщица Петра Камара, которой посвящено стихотворение "Инес де лас Сьеррас", вдохновляет Готье только потому, что приводит ему на ум героиню Нодье.

В основе поэтики Готье лежит принцип культурных отсылок, ассоциаций, реминисценций; они служат ему своеобразной призмой, сквозь которую он смотрит на окружающую действительность, нередко замечая в ней лишь то, что способна пропустить эта призма. "Парк был совершенно во вкусе Ватто"; "Свет и тени легли, словно на полотне Рембрандта" – подобные фразы можно встретить у Готье на каждом шагу. "Эмали и камеи" буквально переполнены мифологическими аллюзиями, намеками на художественные выставки, оперы, балеты, они пестрят реминисценциями из множества иностранных и французских писателей (Гёте, Гейне, Цедлиц, Гофман Рюккерт, А. Рэдклифф, Шатобриан, Жорж Санд,

Сент-Бёв, Беранже). прямыми отсылками к произведениям живописцев и скульпторов XVI – XVIII вв. (Гольбейн Младший, Корреджо, А. Канова, Дж. Пиранези, А. Куазево, Н. Кусту и др.). "Природа, ревнующая к искусству..." – эта строка из "Замка воспоминаний" может служить ключом ко всему творчеству Готье. Его поэзия и его проза во многом представляют собой "воображаемый музей" художественной культуры – музей, в котором он только и чувствует себя уютно, тем самым как будто оправдывая репутацию холодного адепта "искусства для искусства".

Между тем на деле все обстояло намного сложнее. Прежде всего нужно придать принципиальное значение тому факту, что и личность, и творчество Готье сложились и развивались в русле романтизма. Начав свой путь в группе поэтов-романтиков, он не случайно закончил его "Историей романтизма". Не случайно и то, что до самой старости ему доставляла удовольствие роль фрондирующего "романтического варвара", всем своим внешним видом и поведением бросающего вызов добропорядочному буржуа-обывателю.

Главная черта Готье как личности – это органическая неприязнь к обыденности, меркантилизму, прагматике и столь же органическая тяга ко всему, что раскрепощает человека, позволяет ему – пусть лишь в воображении – пережить значительную, яркую, необычную судьбу. Между тем ирония реальной судьбы состояла в том, что она обрекла Готье именно на "закрепощение", на жизнь в буржуазной Франции середины XIX в., среди унылых чиновников, пошлых торгашей и холодных аристократов, вызывавших у него неподдельное отвращение. Вот почему Готье столь глубоко прочувствовал важнейшую романтическую мифологию – мифологему разлада между "прозой наличной действительности" и "поэзией идеала": она как нельзя лучше соответствовала его изначальному мироощущению. Его творчество – это отнюдь не бесстрастные литературные упражнения отрешенного от жизни эстета, это не отрицание жизни, но тоска по "другой жизни", стремление совершить побег в "грезу", где идеал нашел бы свое воплощение.

Эта греза могла принимать у Готье различные формы. Прежде всего – форму утопической мечты о всемогущем человеке-

боге, способном переноситься (в прямом, физическом смысле) в любые страны, воскрешающем "золотой век", создающем на земле экзотический рай, где повседневность не имеет никакой власти над личностью, где удовлетворяются все ее желания, где царит изобилие и вакхическое счастье (повесть "Фортунио", 1837).

Тема "эльдорадо" естественным образом перерастала у Готье в мотив карнавального празднества, уничтожающего общественные перегородки и общепринятые роли, позволяющего человеку в оргиастическом восторге пережить всю полноту жизни, не стесненной ни социальным принуждением, ни социальным конформизмом. Жажда праздника, стихия праздника настойчиво прорываются на страницы таких повестей и романов Готье, как "Царь Кандавл", "Роман мумии", "Капитан Фракасс", а в стихотворном цикле "Вариации на тему Венецианского карнавала" (вошедшем в "Эмали и камни") эта стихия царит безраздельно.

"Вариации...", далекие от прямой утопичности, изображающие вполне реальное действо, ежегодно разыгрывавшееся на улицах и площадях знаменитого итальянского города, позволяют, между прочим, понять, насколько сильным было желание Готье наяву увидеть собственную грезу, превратить ее в жизненный факт. Стремление спроецировать мечту в действительность оборачивается интенсификацией типичного для романтиков мотива — мотива "Средиземноморья" как некоего архетипического воплощения человеческого счастья и свободы. Стоит обратить внимание на то, что даже география путешествий Готье в значительной мере подчинена этой романтической мифологеме: на Север (в Бельгию, в Англию или в заснеженную Россию) он обычно отправляется "по делам", по необходимости, под давлением обстоятельств; на Юг, на Восток (в Италию, в Испанию, в Африку, в Турцию) его влечет тоска по подлинности. Север (включая, разумеется, Францию) представляется ему бесцветным и мертвящим краем изгнания, тогда как красочный, живописный мир Средиземноморья ассоциируется для него с подлинной родиной, с потерянной землей обетованной, пронизанной золотым солнечным светом и напитанной теплыми запахами лазурного моря, — с землей, где здоровье человеческих тел сочетается с душевным благородством сильных характеров, где

гармонически сливаются естественность и культура, природа и цивилизация. Эта ностальгия по "Средиземноморью", столь отчетливо проявившаяся, например, в стихотворении "Что говорят ласточки", доходила у Готье до галлюцинаторной ясности, с которой он мог зримо представить страну своей мечты, даже если ему не приходилось в ней бывать: восхищенные читатели "Романа мумии", содержащего впечатляющие описания нильской долины и сахарской пустыни, не без лукавства спрашивали Готье: "Вы что же, успели съездить в Египет?", на что автор очень серьезно отвечал: "Пока что нет, но я его *видел*".

Чувствуя себя в современной ему Франции рюккертовской "перелетной ласточкой" или бодлеровским "альбатросом". Готье — совершенно в романтическом духе — жаждал побега не только в экзотические страны, но и в историческое прошлое, однако, в отличие от большинства романтиков, привлекали его не столько Средние века, сколько эпохи, вобравшие в себя дух античности (прежде всего европейский Ренессанс, а также XVII и XVIII столетия), и, разумеется, сама колыбель западной цивилизации — классическая Греция. ибо она представлялась Готье подлинным эдемом искусства. Дело тут не только в том, что художественному чутью Готье в высшей степени импонировали архетипичность греческой мифологии, пластика античной скульптуры и гармоничная правильность эллинской архитектуры. Дело в том, что Греция представлялась ему торжеством Искусства с большой буквы, а искусство было для Готье наиболее полной реализацией владевшей им грезы.

Подчеркнем еще раз: жизнь как таковая не отталкивала Готье, напротив, он был жаден к самым различным ее проявлениям, зачарован пестротой вещного мира, однако мир этот в своей непосредственной данности настораживал его несовершенством, неустойчивостью, текучестью, подвластностью смерти. Искусство же — в полном соответствии с античной эстетикой — рисовалось Готье как достижимый идеал, как вернейший способ стереть в природе "случайные черты", избавиться от всего переходящего, преодолеть течение времени и тем самым наложить на жизнь печать абсолюта и вечности. Вот почему искусство для Готье не противостоит жизни, но восполняет ее, выступает не как антиприрода, а как сверхприрода, о чем с ясностью говорится в

программном стихотворении "Искусство", звучащем как завершающий аккорд "Эмалей и камней".

Итак, греза Готье — это не греза об искусстве, отрешенном от жизни и витающем в запредельных сферах; напротив, это мечта о единстве, полноте и совершенстве бытия, а искусство оказывается лишь одной из реализаций этой мечты; оно выявляет в жизни ее идеальное и нетленное начало. Важно подчеркнуть и другое: сама греза у Готье распадается на множество фрагментов, осколков, поворачивается к читателю различными, подчас несовместимыми на первый взгляд, гранями: открытый романтический пафос или мечта о дионисийских экстазах соседствуют здесь со столь же открытыми классическими пристрастиями, Ватто — с Рабле, гимны человеческой мощи — с умилением перед слабостью и беззащитностью, интерес к древности — с восторженными предсказаниями эры воздухоплавания. Во всем этом, однако, нет противоречия. есть лишь проявление многоформной, протейстической натуры, стремившейся слить в идеал самые разнородные элементы, все объять, ничего не упустить.

Тот факт, что напряжение между грезой и явью, искусством и действительностью мыслится Готье как разрешимое, ибо сама жизнь в стремлении к совершенству словно бы тянется за искусством и искусством поверяется (тезис Готье о "природе, ревнующей к искусству", следует понимать не только в чисто эстетическом, но и в мирозерцательном смысле), — этот факт позволяет лучше понять, почему в основу его поэтики положено экфрасическое описание: экфрасис для Готье — в первую очередь это не что иное, как наиболее естественный способ приблизить реальность к идеалу, "подтянуть" жизнь до уровня искусства.

И все же так ли безоговорочно доверие Готье к искусству? Если бы он и вправду был абсолютно убежден в полном превосходстве и торжестве искусства над жизнью, нам трудно было бы объяснить обостренность видения в "Эмалях и камнях", пристрастие автора к парадоксам и оксюморонным сочетаниям, легкую грусть, беспокойство и прорывающуюся то здесь, то там лирическую эмоциональность.

Вернувшись к проблеме "Готье и романтизм", мы — быть может, с удивлением — заметим, что, вскормленный в романтическом лоне, всю жизнь сохранявший верность Гюго и его тради-

циям, Готье, однако, с тем же постоянством посмеивался над романтизмом, сохраняя по отношению к нему (а значит, и по отношению к самому себе) известную дистанцию, явственную даже в пору его литературных дебютов. В самом деле, еще юношей написав стихотворение под красноречивым названием "Кошмар" ("Ненасытного голода не поборю я – // Раздавить на зубах эту кожу гнилую, // Сунуть жадные зубы в дырявую грудь, // Черной крови из мертвого сердца хлебнуть!" – *Пер. Б. Дубина*), Готье всего через несколько лет поставил приведенные строки эпиграфом к своему рассказу "Даниель Жовар, или Обращение классика" (1833), где придал им откровенно пародийное звучание, поскольку сам рассказ представлял собой не что иное, как задиристую сатиру на романтизм группы, называвшей себя "Молодая Франция". В "Даниеле Жоваре" раскрывается романтическая "кухня": герой (окарикатуренный тип "молодого француза"), наставляющий подопечного неопита в литературном ремесле, учит его "подделываться под возвышенный стиль мечтателя, под задушевно-интимный тон, под художника, писать "под Данте", в роковом стиле, – и все это за одно утро!"

Эта остразняющая каталогизация важнейших стилевых клише романтизма ясно показывает, что Готье, хорошо усвоивший романтическую поэтику, так до конца и не присвоил ее, не отождествил себя с ней безраздельно.

Напротив, принципиальная черта Готье-литератора – двойственность. С одной стороны, он погружен в атмосферу романтизма и доверчив к языку романтической поэзии, поскольку это господствующий художественный язык его времени, другого он не только не знает, но и не стремится создать: все творчество Готье основано прежде всего на романтической топике, образности, стилистике. С другой стороны – и в этом, пожалуй, наибольшая оригинальность Готье, – язык романтизма в его творчестве сам предстает как объект "говoreния", рефлексии.

Ясный до грубоватости пример представляет собой стихотворение "Мансарда", само название которого свидетельствует о том, что перед нами типичный романтический топос. Готье варьирует его на протяжении трех строф, показывая то "Риголетту", любующуюся собой в зеркальце у окна и тем самым позволяющую полюбоваться на себя другим, то "Марго" (сами имена недвусмысленно говорят

о том, что перед нами столичные гризетки) в расстегнутом платье, наклонившуюся, чтобы полить цветок на подоконнике, то, наконец, юного поэта, самозабвенно декламирующего стихи. Однако жестоко ошибется тот, кто вообразит, будто Готье говорит здесь всерьез, от собственного лица, будто он и вправду видит парижские мансарды такими, какими их здесь изображает в соответствии с канонами романтической литературы. На самом деле он с недвусмысленной иронией отстраняется от нарисованных им образов ("Я враль, как всякий сочинитель, // И ничего не стоит мне // Украсить нищую обитель // И выставить цветы в окне", — *Пер. В. Портнова*), подчеркивая, что он воспроизводит лишь поэтический штамп, не имеющий отношения к реальной действительности ("Артист, веселая гризетка, // Вдовец и юный холостяк // Мансарду любят очень редко, // И только в песнях мил чердак", — *Пер. Н. Гумилева*).

Заметим сразу: читатель в этом стихотворении вновь сталкивается с характерным для Готье зазором между "искусством" и "жизнью", но на этот раз уже не жизнь поверяется искусством, а искусство жизнью, причем сравнение оказывается явно не в пользу "врущего" искусства.

Впрочем, обычно Готье действует более тонко. Так, в "Рондалле", представляющей собой "экфрасис" арагонской любовной серенады (в романтической, разумеется, обработке), отвергнутый влюбленный поэт под балконом исполненную ревности песню: Готье тщательно воспроизводит жанровые мотивы подобной серенады, но при этом то тут, то там слегка их утрирует (предмет поклонения именуется "голубкой", но взгляд у нее, оказывается, "ястребиный"; сам же "лирический герой", грозящий поотрезать не только уши, но и носы соперникам, в конце концов сравнивает себя с ревущим от слепой ярости быком): Готье, таким образом, создал вовсе не серенаду и даже не подражание серенаде, а нарочито отчужденный образ серенады — отчужденный за счет дистанции между культурным контекстом имитируемого жанра и культурным контекстом имитатора.

Подобная дистанция так или иначе присутствует во всех стихотворениях, входящих в "Эмали и камеи", однако в подавляющем большинстве случаев в них нет ни иронии, ни насмешки, хотя намеренная имитация чужого стиля и чужой образности, сохранение их характерных черт тут налицо.

В "Кармен" эффект имитации достигается, в частности, за счет того, что Готье последовательно сгущает описания и приемы, содержащиеся в новелле Мериме. Там, где Мериме нужно целое предложение, чтобы описать волосы героини, Готье стягивает это описание в один емкий эпитет ("зловещая чернота ее волос"), содержащий не только живописную, но и психологическую характеристику образа; там, где новеллист пускается в пространные рассуждения об огненном взгляде Кармен, Готье обходится сочным цветовым мазком. и т. п.

Обобщим сказанное. Обычно в литературной речи авторские приемы, стилистика, образность существуют лишь затем, чтобы привлечь читательское внимание к изображаемым предметам, а отнюдь не к самим себе, они служат *средством* изображения, но не его *объектом*, и потому подобны всякому скрытому механизму, призванному оказать на нас определенное воздействие. В искусстве, как правило, мы испытываем эстетическое воздействие произведения, совершенно не отдавая себе отчета в том, какая сложная и целенаправленная система приемов в нем упрятана. Готье же ненавязчиво, но последовательно заставляет читателя заглянуть в самый механизм романтической литературы, тонко "обнажает" его приемы, выставляя их на всеобщее обозрение.

"Эмали и камеи" целиком построены на принципе "двойного зрения": читатель (конечно, культурно подготовленный читатель, которому и адресован сборник) должен *одновременно* видеть и описываемый предмет (как в обычной литературе), и весь тот стиль, все "общие места", при помощи которых романтизм создает образы этих предметов: он должен видеть не только цыганку Кармен, но и ощущать стилистику новеллы Мериме, он должен видеть парижскую мансарду с девицей у окна — и вместе с тем понимать, что это вовсе не реальная мансарда, а всего лишь "придуманый" романтиками образ мансарды, тиражированный в первой половине XIX в. во множестве экземпляров (ср., например, знаменитый "Чердак" Беранже).

Готье, с одной стороны, активно использует романтические изобразительно-выразительные средства, а с другой — ощущает их как застывшие клише и даже штампы, от которых он тем не менее не может и не хочет отказаться. Готье сознательно работает с готовой литературной топишкой, а это значит, что экфрасисы,

культурные аллюзии и реминисценции в конечном счете служат у него одной главной цели – *стилизации*. Цель всякой стилизации состоит в том, чтобы обьективировать чужие стили, чужие способы выражения. Имитируя романтический стиль, Готье тщательно сохраняет все его характерные приметы, но вместе с тем что-то неуловимо в нем меняет, поскольку не просто "срисовывает" чужие художественные изображения, но их "подрисовывает" и "прорисовывает" – углубляет тона там, где оригинал содержал лишь полутона и оттенки, проводит резцом в тех местах, в которых имитируемый автор работал более тонкими штрихами, и т. п. Это опять-таки приводит к двойному эффекту: с одной стороны, Готье отнюдь не огрубляет и не искажает исходный образ, но лишь делает его более выпуклым и четким, а с другой – сама эта четкость позволяет ощутить известную *условность* данного образа по отношению к жизни.

Впечатление условности, которое оставляют стихи Готье, усиливается за счет его открытой установки на экзотизм, причем экзотизм, предполагающий мозаичное смешение топосов, заимствованных из самых различных (как в географическом, так и в историческом отношении) областей культуры. Причудливое соседство китайской "Голубой реки" (Янцзы) и толедских клинков, турецких кальянов и дамских нарядов в стиле рококо, греческих мифологических персонажей и стилизованных "ветеранов старой гвардии", египетских пирамид и венецианского карнавала – все это создает атмосферу декоративности и легкой ирреальности мира, живописуемого Готье.

Он сознательно стремился к этому эффекту, ясно понимая, что обожаемое им Искусство более всего похоже на красочную упаковку, в которую не может и не хочет укладываться действительная жизнь. А жизнь, несмотря на все ее "несовершенства", Готье любил не менее страстно, чем искусство. Чувственный и чувствительный, очень эмоциональный, открытый, доверчивый и оптимистичный по природе, "добрый Тео" всей душой был распахнут навстречу внешнему миру.

Эта открытость, однако, несла на себе печать "страдательности", но отнюдь не *активности*. В ней коренилась слабая черта личности Готье – незащищенность, чреватая смутной боязнью натолкнуться на непонимание, насмешку, обиду, обман. Любя

жизнь, "добрый", но не слишком волевой Тео никогда не решался до конца верить ей, а потому, пожалуй, даже слегка ее побаивался. Искренне презирая свою бескрылую эпоху ("Две подлинных струны моего творчества, две громко звучащих ноты, — говорил Готье Гонкурам, — это буффонада и черная меланхолия — чувство омерзения к своему времени, заставляющее меня бежать прочь от него"¹), он именно "бежал" от этой эпохи, но отнюдь не помышлял о том, чтобы бросить ей вызов; он был инертной натурой, не умел противостоять обстоятельствам, легко поддавался чужому влиянию (его отношения с издателем Э. Жирарде-ном — яркий тому пример) и, как правило, проявлял полнейшую беспомощность в житейских делах.

Чувствительность и незащищенность — вот постоянный лирический источник творчества Готье, но источник, который он тщательно скрывал от других, а быть может, и от самого себя, когда надевал ~~эстетскую маску или~~ обрушивался на романтическую патоку и патетику.

Готье хотел жизни, но жизни без реальных конфликтов, без реальной "пошлости", насилия и жестокости, то есть такой жизни, которую могут дать одни только созерцательность и бездействие. Здесь-то и приходило ему на помощь Искусство — чистая деятельность воображения, позволяющая переноситься в любые страны или эпохи, испытывать любые страсти и переживать самые драматические судьбы, самому при этом оставаясь в полнейшей безопасности и не принимая в описываемых событиях никакого участия. Искусство для Готье было защищенным приютом, "островком спасения", а знаменитый лозунг "искусство для искусства", предвосхитивший не менее знаменитую "башню из слоновой кости", служил своего рода теоретическим алиби, позволявшим подвести умозрительную базу под позицию невмешательства.

Вместе с тем, судя по многим высказываниям Готье, он хорошо понимал, насколько ненадежным прибежищем является иллюзорный мир искусства, насколько эфемерно торжество, сулимое этой грезой, в какой дым развеиваются сновидения в тот момент, когда сновидец пробуждается, оказываясь один на один с той самой действительностью, от которой он хотел спастись.

¹Goncourt. Op. cit. T. VI. P. 154.

Более того, заставляя осознать опасность герметизма и затворничества, давая пусть хрупкую, но зато реальную надежду на жизненное воплощение человеческих ценностей, эта действительность по-своему манила Готье не менее, чем "действительность искусства".

В сущности, все творчество Готье есть не что иное, как глубокое и очень искреннее переживание современной дилеммы, открытой как раз в романтическую эпоху, — противоречия между искусством как областью созерцания, с одной стороны, и жизнью как сферой действия и ответственного поступка — с другой.

Жизнь для Готье — это непосредственная эмоция (почти все его стихи являются откликом на какое-нибудь конкретное событие, написаны под влиянием прямого впечатления или импульса), а искусство — способ сублимировать и эстетизировать эту эмоцию, утаить ее живой источник, придать ей застывшие черты "вечности": "Человек, — любил поучать Готье, — не должен показывать, что он чем-то взволнован. Чувства не должны оставлять в произведении никакого следа". К счастью для читателей, эта программа самому Готье удалась далеко не полностью, что про- ницательно почувствовал уже его современник, Барбе д'Ореви́льи, так отозвавшийся об "Эмалях и камнях" и об их авторе: "Этот человек, якобы являющийся (по его утверждению) мастером приема, в действительности наделен простой и чувствительной душой. Хотя он и говорит "алмаз сердца" вместо того, чтобы просто сказать "слеза", хотя он и хочет — ради вящей выразительности, — чтобы капли его слез застывали сияющими кристаллами, живое переживание одерживает верх над этим намерением. Книга побеждает собственное заглавие, не передающее и половины ее содержания. Это заглавие относится к блестящей, но холодной стороне книги, оно не раскрывает ее подспудного, сокровенного и трепетного смысла. Эмали растопить невозможно, поэтому Готье следовало бы назвать свой сборник "Растопленные жемчуга"; ведь те поэтические жемчужины, которыми наш дух упивается со сладострастием Клеопатры, становятся каплями слез в последней строфе любого стихотворения; в этом и состоит очарование книги Готье — очарование, превосходящее ее красоту"¹.

¹Цит. по: Voisin M. Le Soleil et la Nuit. L'Imaginaire dans l'œuvre de Théophile Gautier. Éditions de l'Université de Bruxelles, 1981. P. 58.

Нерв творчества Готье — отнюдь не в холодном эстетизме, но и не в обнаженном лиризме, а в тонком драматическом напряжении между ними — напряжении, питаемом утопической мечтой о том, чтобы слить грезу и действие, жизнь превратить в произведение искусства, а искусство наполнить живой силой жизни, иными словами, превратить искусство в "искусство жить".

Г. Косиков





Émaux
et Camées
D'après
le Carnet
de





PRÉFACE

Pendant les guerres de l'empire,
Gœthe, au bruit du canon brutal,
Fit le *Divan occidental*,
Fraîche oasis où l'art respire.

Pour Nisami quittant Shakspeare,
Il se parfuma de çantal,
Et sur un mètre oriental
Nota le chant qu'Hudhud soupire.

Comme Gœthe sur son divan
A Weimar s'isolait des choses
Et d'Hafiz effeuillait les roses,

Sans prendre garde à l'ouragan
Qui fouettait mes vitres fermées,
Moi, j'ai fait *Émaux et Camées*.





ПРЕДИСЛОВЬЕ

В часы всеобщей смуты мира
Оставил Гёте ратный стан
И создал "Западный Диван",
Оазис, где рокочет лира.

Для Низами забыв Шекспира,
Он жил мечтой далеких стран
И ритмом звучным, как орган,
Пел о Гудут, живущей сир.

Как Гёте на свою тахту
В Веймаре убегал от прозы
Гафизовы лелеять розы,

Оставив дождь и темноту
Стучаться в окна мне сильнее,
Я пел "Эмали и Камей".





AFFINITÉS SECRÈTES

MADRIGAL PANTHÉISTE

Dans le fronton d'un temple antique,
Deux blocs de marbre ont, trois mille ans,
Sur le fond bleu du ciel attique,
Juxtaposé leurs rêves blancs;

Dans la même nacre figées,
Larmes des flots pleurant Vénus,
Deux perles au gouffre plongées
Se sont dit des mots inconnus;

Au frais Généralife écloses,
Sous le jet d'eau toujours en pleurs,
Du temps de Boabdil, deux roses
Ensemble ont fait jaser leurs fleurs;

Sur les coupoles de Venise
Deux ramiers blancs aux pieds rosés,
Au nid où l'amour s'éternise,
Un soir de mai se sont posés.

Marbre, perle, rose, colombe,
Tout se dissout, tout se détruit;
La perle fond, le marbre tombe,
La fleur se fane et l'oiseau fuit.



ТАЙНОЕ СРОДСТВО

ПАНТЕИСТИЧЕСКИЙ МАДРИГАЛ

Давно две мраморных громады,
Из них воздвигнут был фронто́н,
Под небом пламенным Эллады
Лелеяли свой белый сон;

Мечтая меж подводных лилий,
Что Афродита все жива,
Два перла в бездне говорили
Друг другу странные слова,

Среди садов Генералифа,
Где бьют фонтаны с высоты,
Две розы при дворе калифа
Сплели между собой цветы.

В Венеции над куполами,
С ногами красными, как кровь,
Два голубя спустились сами,
Чтоб вечной стала их любовь.

Голубка, мрамор, перл и розы —
Все погибают в свой черед,
Перл тает, губят цвет морозы,
Смерть птицам, мрамор упадет.

En se quittant, chaque parcelle
S'en va dans le creuset profond
Grossir la pâte universelle
Faite des formes que Dieu fond.

Par de lentes métamorphoses,
Les marbres blancs en blanches chairs,
Les fleurs roses en lèvres roses
Se refont dans des corps divers.

Les ramiers de nouveau roucoulent
Au cœur de deux jeunes amants,
Et les perles en dents se moulent
Pour l'écrin des rires charmants.

De là naissent ces sympathies
Aux impérieuses douceurs,
Par qui les âmes averties
Partout se reconnaissent sœurs.

Docile à l'appel d'un arôme,
D'un rayon ou d'une couleur,
L'atome vole vers l'atome
Comme l'abeille vers la fleur.

L'on se souvient des rêveries
Sur le fronton ou dans la mer,
Des conversations fleuries
Près de la fontaine au flot clair,

Des baisers et des frissons d'ailes
Sur les dômes aux boules d'or,
Et les molécules fidèles
Se cherchent et s'aiment encor.

L'amour oublié se réveille,
Le passé vaguement renaît.
La fleur sur la bouche vermeille
Se respire et se reconnaît.

И, расставаясь, каждый атом
Ложится в бездну вещества
Посевом царственно богатым
Для форм, творений Божества.

Но в превращениях незаметных
Прекрасной плотью белый прах,
А роза краской губ приветных
В иных становятся телах.

Голубки снова бьют крылами
В сердцах, познавших мир утех,
И перлы, ставшие зубами,
Веселый освещают смех.

Здесь зарождение тех симпатий,
Чей пыл и нежен и остер,
Чтоб души, чутки к благодати,
Друг в друге встретили сестер.

Покорный сладким ароматам,
Зовущим краскам иль лучам,
Все к атому стремится атом,
Как жадная пчела к цветам.

И вспоминаются мечтанья
Там, на фронтоне иль в волнах,
Давно увядшие признанья
Перед фонтанами в садах,

Над куполами белой птицы
И взмахи крыльев и любовь,
И вот покорные частицы
Друг друга ищут, любят вновь.

Любовь, как прежде, стала бурной,
В тумане прошлое встает,
И на губах цветок пурпурный
Себя, как прежде, узнает.

Dans la nacre où le rire brille,
La perle revoit sa blancheur;
Sur une peau de jeune fille,
Le marbre ému sent sa fraîcheur.

Le ramier trouve une voix douce,
Écho de son gémissément,
Toute résistance s'émousse,
Et l'inconnu devient l'amant.

Vous devant qui je brûle et tremble,
Quel flot, quel fronton, quel rosier,
Quel dôme nous connut ensemble,
Perle ou marbre, fleur ou ramier?

LE POÈME DE LA FEMME

MARBRE DE PAROS

Un jour, au doux rêveur qui l'aime,
En train de montrer ses trésors,
Elle voulut lire un poème,
Le poème de son beau corps.

D'abord, superbe et triomphante,
Elle vint en grand apparat,
Traînant avec des airs d'infante
Un flot de velours nacarat:

Telle qu'au rebord de sa loge
Elle brille aux Italiens,
Écoutant passer son éloge
Dans les chants des musiciens.

Ensuite, en sa verve d'artiste,
Laisant tomber l'épais velours,
Dans un nuage de batiste
Elle ébaucha ses fiers contours.

В зубах отливом перламутра
Сияют перлы вечно те ж;
И, кожа девушек в час утра,
Старинный мрамор юн и свеж.

Голубка вновь находит голос,
Страдания эхо своего,
И как бы сердце ни боролось,
Пришелец победит его.

Вы, странных полная предвестий,
Какой фронто́н, какой поток,
Сад иль собор нас знали вместе,
Голубку, мрамор, перл, цветок?

ПОЭМА ЖЕНЩИНЫ ПАРОССКИЙ МРАМОР

К поэту, ищущему тему,
Послушная любви его,
Она пришла прочесть поэму,
Поэму тела своего.

Сперва, надев свои брильянты,
Она взидала свысока,
Влача с движеньями инфанты
Темно-пурпурные шелка.

Такой она блистает в ложе,
Окружена толпой льстецов,
И строго слушает все то же
Стремленье к ней в словах певцов.

Но с увлечением артиста
Застежки тронула рукой
И в легком облаке батиста
Явила гордых линий строй.

Glissant de l'épaule à la hanche,
La chemise aux plis nonchalants,
Comme une tourterelle blanche,
Vint s'abattre sur ses pieds blancs.

Pour Apelle ou pour Cléomène,
Elle semblait, marbre de chair,
En Vénus Anadyomène
Poser nue au bord de la mer.

De grosses perles de Venise
Roulaient au lieu de gouttes d'eau,
Grains laiteux qu'un rayon irise,
Sur le frais satin de sa peau.

Oh! quelles ravissantes choses,
Dans sa divine nudité,
Avec les strophes de ses poses,
Chantait cet hymne de beauté!

Comme les flots baisant le sable
Sous la lune aux tremblants rayons,
Sa grâce était intarissable
En molles ondulations.

Mais bientôt, lasse d'art antique,
De Phidias et de Vénus,
Dans une autre stance plastique
Elle groupe ses charmes nus.

Sur un tapis de Cachemire,
C'est la sultane du sérail,
Riant au miroir qui l'admire
Avec un rire de corail;

La Géorgienne indolente,
Avec son souple narguilhé,
Étalant sa hanche opulente,
Un pied sous l'autre replié,

Рубашка, медленно сползая,
Спадает к бедрам с узких плеч,
Чтоб, как голубка снеговая,
У белых ног ее прилечь.

Она могла бы Клеомену
Иль Фидию моделью быть,
Венеру Анадиомену
На берегу изобразить.

И жемчуга столицы дождей,
Молочно-белы и горды,
Сияя на атласной коже,
Казались каплями воды.

Какие прелести мелькали
В ее чудесной наготе!
И строфы поз ее слагали
Святые гимны красоте.

Как волны, бьющие чуть зримо
На белый от луны утес,
Она была неистощима
В великолепных сменах поз.

Но вот, устав от грез античных,
От Фидия и от наяд,
Навстречу новых станс пластичных
Нагие прелести спешат.

Султанша юная в серале
На смирнских нежится коврах,
Любуясь в зеркало из стали,
Как смех трепещет на устах.

Потом грузинка молодая,
Держа душистый наргиле
И ноги накрест подгибая,
Сидит и курит на земле.

Et, comme l'odalisque d'Ingres,
De ses reins cambrant les rondeurs,
En dépit des vertus malingres,
En dépit des maigres pudeurs!

Paresseuse odalisque, arrière!
Voici le tableau dans son jour,
Le diamant dans sa lumière;
Voici la beauté dans l'amour!

Sa tête penche et se renverse;
Haletante, dressant les seins,
Aux bras du rêve qui la berce,
Elle tombe sur ses coussins.

Des paupières battent des ailes
Sur leurs globes d'argent bruni,
Et l'on voit monter ses prunelles
Dans la nacre de l'infini.

D'un linceul de point d'Angleterre
Que l'on recouvre sa beauté:
L'extase l'a prise à la terre;
Elle est morte de volupté!

Que les violettes de Parme,
Au lieu des tristes fleurs des morts
Où chaque perle est une larme,
Pleurent en bouquets sur son corps!

Et que mollement on la pose
Sur son lit, tombeau blanc et doux,
Où le poète, à la nuit close,
Ira prier à deux genoux!

То Энгра пышной одалиской
Вздывает груди, как в бреду,
Назло порядочности низкой,
Назло тщедушному стыду!

Ленивая, оставь старанья!
Вот дня пылающего власть,
Алмаз во всем своем сияньи,
Вот красота, когда есть страсть!

Закинув голову от муки,
Дыша прерывисто, она
Дрожит и упадает в руки
Ее ласкающего сна.

Как крылья, хлопают ресницы
Внезапно-потемневших глаз,
Зрачки готовы закатиться
Туда, где царствует экстаз.

Пусть саван английских материй
То, чем досель она была,
Оденет: рай открыл ей двери,
Она от страсти умерла!

Пусть только пармские фиалки,
Взамен цветов из стран теней,
Чьи слезы сумрачны и жалки,
Грустят букетами над ней.

И тихо пусть ее положат
На ложе, как в гробницу, там,
Куда поэт печальный может
Ходить молиться по ночам.

ÉTUDE DE MAINS

I

IMPÉRIA

Chez un sculpteur, moulée en plâtre,
J'ai vu l'autre jour une main
D'Aspasie ou de Cléopâtre,
Pur fragment d'un chef-d'œuvre humain ;

Sous le baiser neigeux saisie
Comme un lis par l'aube argenté,
Comme une blanche poésie
S'épanouissait sa beauté.

Dans l'éclat de sa pâleur mate
Elle étalait sur le velours
Son élégance délicate
Et ses doigts fins aux anneaux lourds.

Une cambrure florentine,
Avec un bel air de fierté,
Faisait, en ligne serpentine,
Onduler son pouce écarté.

A-t-elle joué dans les boucles
Des cheveux lustrés de don Juan,
Ou sur son caftan d'escarboucles
Peigné la barbe du sultan,

Et tenu, courtisane ou reine,
Entre ses doigts si bien sculptés,
Le sceptre de la souveraine
Ou le sceptre des voluptés?

Elle a dû, nerveuse et mignonne,
Souvent s'appuyer sur le col
Et sur la croupe de lionne
De sa chimère prise au vol.

ЭТЮД РУК

I

ИМПЕРИЯ

Однажды отлитой из гипса
Залюбовался я рукой
Аспазии или Калипсо,
Как украшением мастерской.

Оцепенев под лаской снежной,
Как утром лилия, чиста,
И как строфа поэмы нежной,
Ее открылась красота.

Легли на бархат темно-синий
При бледно-матовых лучах
Изящество точеных линий
И пальцы тонкие в перстнях.

И флорентийским оборотом
Змеинный выдержав извив,
Оставлен легким поворотом
Мизинец, царственно-красив.

Она ласкала ль дон Жуану
Отливы смоляных кудрей,
Чесала ль бороду султану
В шелках, карбункула красней,

Владычица ли, жрица страсти,
Хватала в пальчики свои
Надменный скипетр, символ власти,
Иль скипетр чувственной любви?

И опиралась, легче птицы,
На шею, гнутую дугой,
Или на круп покорной львицы,
Своей химеры огневой.

Impériales fantaisies,
Amour des somptuosités,
Voluptueuses frénésies,
Rêves d'impossibilités,

Romans extravagants, poèmes
De haschisch et de vin du Rhin,
Courses folles dans les bohèmes
Sur le dos des coursiers sans frein ;

On voit tout cela dans les lignes
De cette paume, livre blanc
Où Vénus a tracé des signes
Que l'amour ne lit qu'en tremblant.

II

LACENAIRE

Pour contraste, la main coupée
De Lacenaire l'assassin,
Dans des baumes puissants trempée,
Posait auprès, sur un coussin.

Curiosité dépravée !
J'ai touché, malgré mes dégoûts,
Du supplice encor mal lavée,
Cette chair froide au duvet roux.

Momifiée et toute jaune
Comme la main d'un pharaon,
Elle allonge ses doigts de faune
Crispés par la tentation.

Un prurit d'or et de chair vive
Semble titiller de ses doigts

Фантазий царственных бездонность
И вера в золото, в шелка,
Как злая чувственность, влюбленность,
По невозможному тоска,

Поэмы странные, романсы
Гашиша или рейнских вин,
Езда на лошади цыганской,
На дикой лошади равнин;

Все на ладони этой скрыто
Средь тонких линий чертежа,
Где ставит знаки Афродита,
Чтоб их любовь прочла, дрожа.

II

ЛАЦЕНЕР

Но для контраста, для примера,
В бальзам не раз погружена,
Рука убийцы Лаценера
Мне рядом с той была видна.

Я с развращенным любопытством
Коснулся, сдерживая дух,
Ее, исполненной бесстыдством,
Одетой в красноватый пух.

Набальзамирована славно
И фараона рук желтей,
Она простерла пальцы фавна,
Сведенные в пылу страстей.

Казалось, золота и тела
Зуд ненасытный щекотал

L'immobilité convulsive,
Et les tordre comme autrefois.

Tous les vices avec leurs griffes
Ont, dans les plis de cette peau,
Tracé d'affreux hiéroglyphes,
Lus couramment par le bourreau.

On y voit les œuvres mauvaises
Écrites en fauves sillons,
Et les brûlures des fournaises
Où bouillent les corruptions;

Les débauches dans les Caprées
Des tripots et des lupanars,
De vin et de sang diaprées,
Comme l'ennui des vieux Césars!

En même temps molle et féroce,
Sa forme a pour l'observateur
Je ne sais quelle grâce atroce,
La grâce du gladiateur!

Criminelle aristocratie,
Par la varlope ou le marteau
Sa pulpe n'est pas endurcie,
Car son outil fut un couteau.

Saints calus du travail honnête,
On y cherche en vain votre sceau.
Vrai meurtrier et faux poète,
Il fut le Manfred du ruisseau!

Еще покой их омертвелый
И как тогда их выгибал.

Здесь, в складках кожи, все пороки
Вписали когтем, хохоча,
Незабываемые строки
Для развлечения палача.

Видны в морщинах этих темных
Бесчеловечные дела,
Ожоги от печей огромных,
Где брызжет адская смола;

Разгулы с грязною любовью,
Игорный дом и лупанар,
Залитые вином и кровью,
Как старых цезарей кошмар!

Но, мягкая и злая, все же
Для праздных зрителей она,
Та гладиаторская кожа,
Жестокой прелести полна!

Аристократке преступлений,
Тяжелый молот не мешал
Изяществу ее движений,
Ее орудьем был кинжал.

Мозоль работы терпеливой,
Здесь не лежит твой чистый след.
Зверь явный и поэт фальшивый
Был только уличный Манфред.

VARIATIONS SUR LE CARNAVAL DE VENISE

I

DANS LA RUE

Il est un vieil air populaire
Par tous les violons raclé,
Aux abois des chiens en colère
Par tous les orgues nasillé.

Les tabatières à musique
L'ont sur leur répertoire inscrit ;
Pour les serins il est classique,
Et ma grand-mère, enfant, l'apprit.

Sur cet air, pistons, clarinettes,
Dans les bals aux poudreux berceaux,
Font sauter commis et grisettes,
Et de leurs nids fuir les oiseaux.

La guinguette, sous sa tonnelle
De houblon et de chèvrefeuil,
Fête, en braillant la ritournelle,
Le gai dimanche et l'argenteuil.

L'aveugle au basson qui pleurniche
L'écorche en se trompant de doigts,
La sébile aux dents, son caniche
Près de lui le grogne à mi-voix.

Et les petites guitaristes,
Maigres sous leurs minces tartans,
Le glapissent de leurs voix tristes
Aux tables des cafés chantants.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ

I

НА УЛИЦЕ

Есть ария одна в народе,
Ее на скрипке пилит всяк,
Шарманки все ее выводят,
Терзая воющих собак.

И табакерке музыкальной
Она известна, как своя,
Ее щебечет чиж нахальный,
И помнит бабушка моя.

Лишь ею флейты и пистоны
В беседках пыльных на балу
Зовут гризеток в вальс влюбленный
И беспокоят птиц в углу.

О захудалые харчевни,
Где вьется жимолость и хмель,
О дни воскресные в деревне,
Когда горланят ригурнель!

Слепой, что ноет на фаготе
И ставит пальцы не туда,
Собака, что стоит в заботе
С тарелкой, лая иногда.

И маленькие гитаристы,
Что, робко кутаясь в тряпье,
В кафешантанах голосисто
У всех столов визжат ее.

Paganini, le fantastique,
Un soir, comme avec un crochet,
A ramassé le thème antique
Du bout de son divin archet,

Et, brodant la gaze fanée
Que l'oripeau rougit encor,
Fait sur la phrase dédaignée
Courir ses arabesques d'or.

II

SUR LES LAGUNES

Tra la, tra la, la, la, la laire!
Qui ne connaît pas ce motif?
A nos mamans il a su plaire,
Tendre et gai, moqueur et plaintif:

L'air du Carnaval de Venise,
Sur les canaux jadis chanté
Et qu'un soupir de folle brise
Dans le ballet a transporté!

Il me semble, quand on le joue,
Voir glisser dans son bleu sillon
Une gondole avec sa proue
Fait en manche de violon.

Sur une gamme chromatique,
Le sein de perles ruisselant,
La Vénus de l'Adriatique
Sort de l'eau son corps rose et blanc.

Les dômes, sur l'azur des ondes
Suivant la phrase au pur contour,

Но Паганини фантастичный
Однажды ночью, как крючком,
Поддел искусно ритм обычный
Своим божественным смычком.

И, восхищенный прежним блеском,
Он воскресил его опять,
Дав золотистым арабескам,
По старой фразе пробежать.

II

НА ЛАГУНАХ

Не знает кто из нас мотива:
Тра-ля, тра-ля, ля-ля, ля-лэр?
Сумел он нравиться, счастливый,
Мамашам нашим, например.

Венецианских карнавалов
Напев излюбленнейший, он
Как легким ветерком с каналов
Теперь в балет перенесен.

Я вижу вновь, ему внимая,
Что в голубых волнах бегут
Гондолы, плавно колыхая
Свой нос, как шейка скрипки, гнут.

В волненьи легкого размера
Лагун я вижу зеркала,
Где Адриатики Венера
Смеется розово-бела.

Соборы средь морских безлюдий
В теченьи музыкальных фраз

S'enflent comme des gorges rondes
Que soulève un soupir d'amour.

L'esquif aborde et me dépose,
Jetant son amarre au pilier,
Devant une façade rose,
Sur le marbre d'un escalier.

Avec ses palais, ses gondoles,
Ses mascarades sur la mer,
Ses doux chagrins, ses gaîtés folles,
Tout Venise vit dans cet air.

Une frêle corde qui vibre
Refait sur un pizzicato,
Comme autrefois joyeuse et libre,
La ville de Canaletto!

III

CARNAVAL

Venise pour le bal s'habille.
De paillettes tout étoilé,
Scintille, fourmille et babille
Le carnaval bariolé.

Arlequin, nègre par son masque,
Serpent par ses mille couleurs,
Rosse d'une note fantasque
Cassandre son souffre-douleurs.

Battant de l'aile avec sa manche
Comme un pingouin sur un écueil,
Le blanc Pierrot, par une blanche,
Passe la tête et cligne l'œil.

Поднялись, как девичьи груди,
Когда волнует их экстаз.

Челнок пристал с колонной рядом,
Закинув за нее канат,
Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд.

О, да! С гондолами, с палаццо
И с маскарадами средь вод,
С тоской любви, с игрой паяца
Здесь вся Венеция живет.

И воскрешает в пичикато
Одна дрожащая струна
Смеющуюся, как когда-то,
Столицу песен и вина.

III

КАРНАВАЛ

Столица дождей одевает
Все блески звездные на бал,
Кипит, смеется и болтает,
Сверкает пестрый карнавал.

Вот Арлекин под маской черной,
Как жар горит его тряпье,
Кассандру нотою задорной
Он бьет, посмешище свое.

Весь в белом, словно большеротый
Пингвин над северной скалой,
Пьеро в просвете круглой ноты
Покачивает головой.

Le Docteur bolonais rabâche
Avec la basse aux sons traînés,
Polichinelle, qui se fâche,
Se trouve une croche pour nez.

Heurtant Trivelin qui se mouche
Avec un trille extravagant,
A Colombine Scaramouche
Rend son éventail ou son gant.

Sur une cadence se glisse
Un domino ne laissant voir
Qu'un malin regard en coulisse
Aux paupières de satin noir.

Ah! fine barbe de dentelle,
Que fait voler un souffle pur,
Cet arpège m'a dit: C'est elle!
Malgré tes réseaux, j'en suis sûr.

Et j'ai reconnu, rose et fraîche,
Sous l'affreux profil de carton,
Sa lèvre au fin duvet de pêche,
Et la mouche de son menton.

IV

CLAIR DE LUNE SENTIMENTAL

A travers la folle risée
Que Saint-Marc renvoie au Lido,
Une gamme monte en fusée,
Comme au clair de lune un jet d'eau...

A l'air qui jase d'un ton bouffe
Et secoue au vent ses grelots,
Un regret, ramier qu'on étouffe,
Par instant mêle ses sanglots.

Болонский доктор обсуждает
В басах понятный всем вопрос,
Полишинель, сердясь, сгибает
Осьмушкой нотной длинный нос.

Отталкивая Тривелина,
Сморкающегося трубой,
У Скарамуша Коломбина
Берет с улыбкой веер свой.

Звучит каданс, и скоро, скоро
В толпе проходит домино,
Но в прорези лукавства взора
Прикрыть ресницам не дано.

О тонкая борода кружев,
Что вздох колышет, легче сна,
Мне, тотчас тайну обнаружив,
Поет арпеджио: — она!

И я узнал влюбленным слухом
Под страшной маскою губу,
Как слива с золотистым пухом,
И мушку черную на лбу.

IV

САНТИМЕНТАЛЬНЫЙ СВЕТ ЛУНЫ

Средь шума, криков, что упрямо
На Лидо площадь Марка шлет,
Одна взнеслась ракетой гамма,
Как в лунном блеске водомет.

В напев веселый и влюбленный,
Гудящий с четырех сторон,
Упрек, как голубь истомленный,
Порой примешивает стон.

Au loin, dans la brume sonore,
Comme un rêve presque effacé,
J'ai revu, pâle et triste encore,
Mon vieil amour de l'an passé.

Mon âme en pleurs s'est souvenue
De l'avril, où, guettant au bois
La violette à sa venue,
Sous l'herbe nous mêlions nos doigts...

Cette note de chanterelle,
Vibrant comme l'harmonica,
C'est la voix enfantine et grêle,
Flèche d'argent qui me piqua.

Le son en est si faux, si tendre,
Si moqueur, si doux, si cruel,
Si froid, si brûlant, qu'à l'entendre
On ressent un plaisir mortel,

Et que mon cœur, comme la voûte
Dont l'eau pleure dans un bassin,
Laisse tomber goutte par goutte
Ses larmes rouges dans mon sein.

Jovial et mélancolique,
Ah! vieux thème du carnaval,
Où le rire aux larmes réplique,
Que ton charme m'a fait de mal!

SYMPHONIE EN BLANC MAJEUR

De leur col blanc courbant les lignes
On voit dans les contes du Nord,
Sur le vieux Rhin, des femmes-cyignes
Nager en chantant près du bord,

Во мгле туманно-серебристой,
Как сон забытый, мне горят
Глаза еще печальной, чистой,
Той, что любил я год назад.

И вспомнила душа в печали
Апрель и рощу, где, ища
Фиалок ранних, мы сжимали
Друг другу руку средь плюща.

И эта нота квинты звонкой,
Поющей, нежа и маня,
Ведь это голос детский, тонкий,
Стрела, что ранила меня.

Так много скрыто в этом звуке,
Так нежен он и так жесток,
Так жгуч, так холоден, что муки
И счастье слить в себе он мог.

И, точно своды над цистерной,
Что точат воду вновь и вновь,
Пусть сердце с музыкой размерной
За каплей каплю точит кровь.'

Веселый и меланхоличный,
Сюжет старинный, где слиты
С одной слезою смех обычный,
Как больно делаешь мне ты!

СИМФОНИЯ ЯРКО-БЕЛОГО

С изгибом белым шей влекущих,
В сказаньях северных ночей,
У Рейна старого поющих
Видали женщин-лебедей.

Ou, suspendant à quelque branche
Le plumage qui les revêt,
Faire luire leur peau plus blanche
Que la neige de leur duvet.

De ces femmes il en est une,
Qui chez nous descend quelquefois,
Blanche comme le clair de lune
Sur les glaciers dans les cieux froids;

Conviant la vue enivrée
De sa boréale fraîcheur
A des régals de chair nacrée,
A des débauches de blancheur!

Son sein, neige moulée en globe,
Contre les camélias blancs
Et le blanc satin de sa robe
Soutient des combats insolents.

Dans ces grandes batailles blanches,
Satins et fleurs ont le dessous,
Et, sans demander leurs revanches,
Jaunissent comme des jaloux.

Sur les blancheurs de son épaule,
Paros au grain éblouissant,
Comme dans une nuit du pôle,
Un givre invisible descend.

De quel mica de neige vierge,
De quelle moelle de roseau,
De quelle hostie et de quel cierge
A-t-on fait le blanc de sa peau?

A-t-on pris la goutte lactée
Tachant l'azur du ciel d'hiver,
Le lis à la pulpe argentée,
La blanche écume de la mer;

Они роняли на аллее
Свои одежды, и была
Их кожа мягче и белее,
Чем лебединые крыла.

Из этих женщин между нами
Порой является одна,
Бела, как там, над ледниками,
В холодном воздухе луна;

Зовя смутившиеся взоры,
Что свежестью опьянены,
К соблазнам северной Авроры
И к исступленьям белизны!

Трепещет грудь, цветок метелей,
И смело с шелка белизной
И с белизной своих камелий
Вступает в дерзновенный бой.

Но в белой битве поражение
И ткани терпят, и цветы,
Они, не думая о мщеньи,
От жгучей ревности желты.

Как белы плечи, лучезарный
Наросский мрамор, полный нег,
На них, как бы во мгле полярной,
Спускается незримый снег.

Какой слюды кусок, какие
Из воска свечи дал Господь,
Что за цветы береговые
Превращены в живую плоть?

Собрали ль в небесах лучистых
Росу, что молока белей;
Иль пестик лилий серебристых,
Иль пену белую морей;

Le marbre blanc, chair froide et pâle,
Où vivent les divinités;
L'argent mat, la laiteuse opale
Qu'irisent de vagues clartés;

L'ivoire, où ses mains ont des ailes,
Et, comme des papillons blancs,
Sur la pointe des notes frêles
Suspendent leurs baisers tremblants;

L'hermine vierge de souillure,
Qui, pour abriter leurs frissons,
Ouate de sa blanche fourrure
Les épaules et les blasons;

Le vif-argent aux fleurs fantasques
Dont les vitraux sont ramagés;
Les blanches dentelles des vasques,
Pleurs de l'ondine en l'air figés;

L'aubépine de mai qui plie
Sous les blancs frimas de ses fleurs;
L'albâtre où la mélancolie
Aime à retrouver ses pâleurs;

Le duvet blanc de la colombe,
Neigeant sur les toits du manoir,
Et la stalactite qui tombe,
Larme blanche de l'ancre noir?

Des Groenlands et des Norvèges
Vient-elle avec Séraphita?
Est-ce la Madone des neiges,
Un sphinx blanc que l'hiver sculpta,

Sphinx enterré par l'avalanche,
Gardien des glaciers étoilés,
Et qui, sous sa poitrine blanche,
Cache de blancs secrets gelés?

Иль мрамор белый и усталый,
Где обитают божества;
Иль серебро, или опалы,
В которых свет дрожит едва;

Иль кость слоновую, чтоб руки,
Крылаты, словно мотыльки,
На клавиши, рождая звуки,
Роняли поцелуй тоски;

Иль снегового горностаю,
Что бережет от злой судьбы,
Пушистым мехом одевая
Девичьи плечи и гербы;

Иль странные на окнах дома
Цветы; иль холюд белых льдин,
Что замерли у водоема,
Как слезы скованных ундин;

Боярышник, что гнется в поле
Под белым инеем цветов;
Иль алебастр, что меланхолий
Напоминает слабый зов;

Голубки нежной и покорной
Над кровлями летящий пух;
Иль сталактит, в пещере черной
Повисший, словно белый дух?

Она пришла ли с Серафитой
С полей гренландских, полных тьмой?
Мадонна бездны ледовитой,
Иль сфинкс, изваянный зимой,

Сфинкс, погребенный под лавиной,
Хранитель пестрых ледников,
В груди сокрывший лебединой
Святую тайну белых снов?

Sous la glace où calme il repose,
Oh! qui pourra fondre ce cœur!
Oh! qui pourra mettre un ton rose
Dans cette implacable blancheur!

COQUETTERIE POSTHUME

Quand je mourrai, que l'on me mette,
Avant de clouer mon cercueil,
Un peu de rouge à la pommette,
Un peu de noir au bord de l'œil.

Car je veux, dans ma bière close,
Comme le soir de son aveu,
Rester éternellement rose
Avec du kh'ol sous mon œil bleu.

Pas de suaire en toile fine,
Mais drapez-moi dans les plis blancs
De ma robe de mousseline,
De ma robe à treize volants.

C'est ma parure préférée;
Je la portais quand je lui plus.
Son premier regard l'a sacrée,
Et depuis je ne la mis plus.

Posez-moi, sans jaune immortelle,
Sans coussin de larmes brodé,
Sur mon oreiller de dentelle
De ma chevelure inondé.

Cet oreiller, dans les nuits folles,
A vu dormir nos fronts unis,
Et sous le drap noir des gondoles
Compté nos baisers infinis.

Он тих во льдах покоем статуй,
О, кто снесет ему весну!
Кто может сделать розовой
Безжалостную белизну!

ЗАГРОБНОЕ КОКЕТСТВО

Когда умру я, пусть положат,
Пока не заколочен гроб,
Слегка румян на бледность кожи,
Белил на шею и на лоб.

Хочу, чтоб и в сырой постели,
Как в день, когда он был со мной,
Приветно щеки розовели,
Дразнила мушка под губой.

Страшны мне савана объятья,
Пожалуйста, пусть облачат
Меня в муслиновое платье,
Тринадцати воланов ряд.

Я в нем была в тот день блаженный,
Когда он подарил мне взор
С улыбкой светлой, и священный
Наряд я прятала с тех пор.

Не надо желтых иммортелей,
Ни тканей траурных, ни свеч,
Лишь на подушку от постели,
Всю в кружевах, хочу я лечь.

В глухих ночах она видала
Два упоенные лица,
И в темноте гондол считала
Лобзанья наши без конца.

Entre mes mains de cire pâle,
Que la prière réunit,
Tournez ce chapelet d'opale,
Par le pape à Rome béni:

Je l'égrènerai dans la couche
D'où nul encor ne s'est levé;
Sa bouche en a dit sur ma bouche
Chaque *Pater* et chaque *Ave*.

DIAMANT DU CŒUR

Tout amoureux, de sa maîtresse,
Sur son cœur ou dans son tiroir,
Possède un gage qu'il caresse
Aux jours de regret ou d'espoir.

L'un d'une chevelure noire,
Par un sourire encouragé,
A pris une boucle que moire
Un reflet bleu d'aile de geai.

L'autre a, sur un cou blanc qui ploie,
Coupé par-derrrière un flocon
Retors et fin comme la soie
Que l'on dévide du cocon.

Un troisième, au fond d'une boîte,
Reliquaire du souvenir,
Cache un gant blanc, de forme étroite,
Où nulle main ne peut tenir.

Cet autre, pour s'en faire un charme,
Dans un sachet, d'un chiffre orné,
Coud des violettes de Parme,
Frais cadeau qu'on reprend fané.

И в руки, сложенные кротко,
Такие бледные, без сил,
Опаловые дайте четки,
Что папа в Риме освятил.

И там, где нет надежд, ликуя,
Я буду их перебирать,
По ним, как Ave, поцелуи,
Бывало, он любил считать.

АЛМАЗ СЕРДЦА

Хранит подарок милой каждый
Влюбленный в сердце ли, в столе,
Его лаская с острой жаждой
В часы надежд иль в горькой мгле.

Один — ах, все влюбленный смеет, —
Улыбкой светлой ободрен,
Взял прядь волос, что голубеет
Чернее, чем крыла ворон.

Другой отрезал нежный локон,
На шее, что сумел склонить,
Волнистый, мягкий, словно кокон,
Прядущий шелковую нить.

А третий вспоминает сладко
Про ящик, гроб своей тоски,
Где скрыта белая перчатка,
Для всякой узкая руки.

Тот прячет Пармские фиалки
В благоуханное саше,
Подарок свежий, ныне жалкий,
Чтоб нежность сохранять в душе.

Celui-ci baise la pantoufle
Que Cendrillon perdit un soir;
Et celui-ci conserve un souffle
Dans la barbe d'un masque noir.

Moi, je n'ai ni boucle lustrée,
Ni gant, ni bouquet, ni soulier,
Mais je garde, empreinte adorée,
Une larme sur un papier:

Pure rosée, unique goutte,
D'un ciel d'azur tombée un jour,
Joyau sans prix, perle dissoute
Dans la coupe de mon amour!

Et, pour moi, cette obscure tache
Reluit comme un écrin d'Ophyr,
Et du vélin bleu se détache,
Diamant éclos d'un saphir.

Cette larme, qui fait ma joie,
Roula, trésor inespéré,
Sur un de mes vers qu'elle noie,
D'un œil qui n'a jamais pleuré!

PREMIER SOURIRE DU PRINTEMPS

Tandis qu'à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.

Pour les petites pâquerettes,
Sournoisement lorsque tout dort,
Il repasse des collerettes
Et cisèle des boutons d'or.

А этот милой Сандрильоной
Потерянную туфлю чтит,
А тот еще, как встарь влюбленный,
Вздох в маске кружевной хранит.

Нет у меня блестящей пряди,
Цветов, перчатки, башмачка,
Но есть зато в моей тетради
Слеза средь одного листка.

То капелька росы мгновенной,
Как небо голубых очей,
То драгоценность, жемчуг пенный,
Растаявший в любви моей.

И, как сокровище Офира,
Мне блещет темное пятно,
Алмазом светлым из сапфира
С бумаги синей внесено.

Я помню, как упала эта
Слеза, хранительница нег,
На строчку моего сонета
Из глаз, не плакавших вовек.

ПЕРВАЯ УЛЫБКА ВЕСНЫ

Тогда как льется все случайней
Людской толпы ненужный гам,
Весну приготавливая втайне,
Смеется Март назло дождям.

Для вербы, горестно склоненной,
Когда и целый мир поник,
Он нежно золотит бутоны,
Разглаживает воротник.

Dans le verger et dans la vigne,
Il s'en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne,
Poudrer à frimas l'amandier.

La nature au lit se repose ;
Lui, descend au jardin désert
Et lace les boutons de rose
Dans leur corset de velours vert.

Tout en composant des solfèges,
Qu'aux merles il siffle à mi-voix,
Il sème aux prés les perce-neiges
Et les violettes aux bois.

Sur le cresson de la fontaine
Où le cerf bout, l'oreille au guet,
De sa main cachée il égrène
Les grelots d'argent du muguet.

Sous l'herbe, pour que tu la cueilles,
Il met la fraise au teint vermeil,
Et te tresse un chapeau de feuilles
Pour te garantir du soleil.

Puis, lorsque sa besogne est faite,
Et que son règne va finir,
Au seuil d'avril tournant la tête,
Il dit: «Printemps, tu peux venir!»

CONTRALTO

On voit dans le musée antique,
Sur un lit de marbre sculpté,
Une statue énigmatique
D'une inquiétante beauté.

Идет, как парикмахер ловкий,
В оцепенелые поля
Своею белою пуховкой
Напудрить ветви миндаля.

Природа тихо отдыхает,
А он спустился в голый сад,
Бутоны роз он одевает
В зелено-бархатный наряд.

Придумывая ряд сольфеджий,
Насвистывая их дроздам,
Сажает в поле он подснежник,
Фиалки сеет там и сям.

И у струи оледенелой,
Где боязливый пьет олень,
Он ландыша бубенчик белый
Заботливо скрывает в тень.

В траве, чтоб ты ее сбирала,
Припрятал землянику он
И ветви сплел, чтоб тень скрывала
От глаз палящий небосклон.

Когда ж пройдут его недели
И вся работа свершена,
Он повернет лицо к Апрелью
И скажет: "Приходи, весна!"

КОНТРАЛЬТО

В музее древнего познания
Лежит над мраморной скамьей
Загадочное изваянье
С тревожащею красотой.

Est-ce un jeune homme? est-ce une femme,
Une déesse, ou bien un dieu?
L'amour, ayant peur d'être infâme,
Hésite et suspend son aveu.

Dans sa pose malicieuse,
Elle s'étend, le dos tourné
Devant la foule curieuse,
Sur son coussin capitonné.

Pour faire sa beauté maudite,
Chaque sexe apporta son don.
Tout homme dit: C'est Aphrodite!
Toute femme: C'est Cupidon!

Sexe douteux, grâce certaine,
On dirait ce corps indécis
Fondu, dans l'eau de la fontaine,
Sous les baisers de Salmacis.

Chimère ardente, effort suprême
De l'art et de la volupté,
Monstre charmant, comme je t'aime
Avec ta multiple beauté!

Bien qu'on défende ton approche,
Sous la draperie aux plis droits
Dont le bout à ton pied s'accroche,
Mes yeux ont plongé bien des fois.

Rêve de poète et d'artiste,
Tu m'as bien des nuits occupé,
Et mon caprice qui persiste
Ne convient pas qu'il s'est trompé.

Mais seulement il se transpose,
Et, passant de la forme au son,

То нежный юноша? Иль дева?
Богиня иль, быть может, бог?
Любовь, страшась Господня гнева,
Дрожит, удерживая вздох.

Так вызывающе-лукаво,
Оно повернуто спиной,
Лежит в подушках величаво
Пред любопытною толпой.

Ах, красота его — обида,
И каждый пол в него влюблен,
Мужчины верят: то Киприда!
И женщины: то Купидон.

Неверный пол, восторг бесспорный,
Сказали б: тело-кипарис
Растаяло в воде озерной
Под поцелуем Салмасис.

Химера пламенная, диво
Искусства и мечты больной,
Люблю тебя я, зверь красивый,
С твоей различной красотой.

Хотя тебя ревниво скрыло
С прямыми складками сукно,
Ненужно, грубо и уныло,
Тобой люблюсь я давно.

Мечта поэта и артиста,
Я по ночам в тебя влюблен,
И мой восторг, пускай нечистый, —
Не должен обмануться он.

Он только терпит превращенье,
Переходя из формы в звук,

Trouve dans sa métamorphose
La jeune fille et le garçon.

Que tu me plais, ô timbre étrange!
Son double, homme et femme à la fois,
Contralto, bizarre mélange,
Hermaphrodite de la voix!

C'est Roméo, c'est Juliette,
Chantant avec un seul gosier;
Le pigeon rauque et la fauvette
Perchés sur le même rosier;

C'est la châtelaine qui raille
Son beau page parlant d'amour,
L'amant au pied de la muraille,
La dame au balcon de sa tour;

Le papillon, blanche étincelle,
Qu'en ses détours et ses ébats
Poursuit un papillon fidèle,
L'un volant haut et l'autre bas;

L'ange qui descend et qui monte
Sur l'escalier d'or voltigeant;
La cloche mêlant dans sa fonte
La voix d'airain, la voix d'argent;

La mélodie et l'harmonie,
Le chant et l'accompagnement;
A la grâce la force unie,
La maîtresse embrassant l'amant!

Sur le pli de sa jupe assise,
Ce soir, ce sera Cendrillon
Causant près du feu qu'elle attise
Avec son ami le grillon;

Я вижу новое явление —
Красавица и с нею друг.

О, как ты мил мне, тембр чудесный.
Где юноша с женою слит,
Контральто, выродок прелестный,
Голосовой гермафродит!

То Ромео и то Джульета,
Что голосом одним поют,
Голубка с голубем, до света
Один нашедшие приют.

То передразнивает дама
В нее влюбленного пажа,
Любовник песнь ведет упрямо,
На башне вторят ей, дрожа.

То мотылек, что искрой белой —
Как лёт его нёуловим —
Спешит за бабочкой несмелой,
Он наверху, она под ним.

То ангел сходит и восходит
По лестнице, чей блеск — добро;
То колокол, что звук выводит,
Смешавши медь и серебро.

То связь гармоний и мелодий,
То аккомпанемент и тон,
То сила с грацией в природе,
Любовницы томящий стон.

Сегодня это Сандрильона
Перед приветным камельком,
Шутящая непринужденно
С приятелем своим сверчком.

Demain le valeureux Arsace
A son courroux donnant l'essor,
Ou Tancrède avec sa cuirasse,
Son épée et son casque d'or;

Desdemona chantant le Saule,
Zerline bernant Mazetto,
Ou Malcolm le plaid sur l'épaule;
C'est toi que j'aime, ô contralto!

Nature charmante et bizarre
Que Dieu d'un double attrait para,
Toi qui pourrais, comme Gulnare,
Être le Kaled d'un Lara,

Et dont la voix, dans sa caresse,
Réveillant le cœur endormi,
Mêle aux soupirs de la maîtresse
L'accent plus mâle de l'ami!

CAERULEI OCULI

Une femme mystérieuse,
Dont la beauté trouble mes sens,
Se tient debout, silencieuse,
Au bord des flots retentissants.

Ses yeux, où le ciel se reflète,
Mêlent à leur azur amer,
Qu'étoile une humide paillette,
Les teintes glauques de la mer.

Dans les langueurs de leurs prunelles,
Une grâce triste sourit;
Les pleurs mouillent les étincelles
Et la lumière s'attendrit;

Потом Арзас великодушный,
Не могший удержать свой гнев,
Или Танкред в кольчуге душной,
Схватив свой меч и шлем надев.

Поет Дездемона об иве,
Малькольм закутался в свой плед;
Контральто, нет ни прихотливей
Тебя, ни благородней нет.

Твоя загадочная чара
Сильна приманкою двойной,
Ты снова можешь, как Гюльнара,
Для Лары нежным быть слугой,

В чьей речи слиты потаенно,
Чтоб страсть была всегда жива,
И вздохи женщины влюбленной,
И друга твердые слова.

CAERULEI OCULI

Вот женщина, святое диво,
Чья красота меня гнетет,
Стоит одна и молчалива
На берегу гремящих вод.

Глаза, где небо — как из стали,
С лазурью горькою своей,
Всегда тревожные, смешали
Оттенки голубых морей.

В зрачках томящих, словно в раме,
Печальный призрак заключен,
Там искры смочены слезами
И блеск их ясный омрачен.

Et leurs cils, comme des mouettes
Qui rasant le flot aplani,
Palpitent, ailes inquiètes,
Sur leur azur indéfini.

Comme dans l'eau bleue et profonde,
Où dort plus d'un trésor coulé,
On y découvre à travers l'onde
La coupe du roi de Thulé.

Sous leur transparence verdâtre,
Brille, parmi le goémon,
L'autre perle de Cléopâtre
Près de l'anneau de Salomon.

La couronne au gouffre lancée
Dans la ballade de Schiller,
Sans qu'un plongeur l'ait ramassée,
Y jette encor son reflet clair.

Un pouvoir magique m'entraîne
Vers l'abîme de ce regard,
Comme au sein des eaux la sirène
Attirait Harald Harfagar.

Mon âme, avec la violence
D'un irrésistible désir,
Au milieu du gouffre s'élance
Vers l'ombre impossible à saisir.

Montrant son sein, cachant sa queue,
La sirène amoureusement
Fait ondoyer sa blancheur bleue
Sous l'email vert du flot dormant.

L'eau s'enfle comme une poitrine
Aux soupirs de la passion ;
Le vent, dans sa conque marine,
Murmure une incantation.

Ресницы, чайки, что кометой
Скользят над сонною волной,
Дрожат, встревожены, над этой
Неясною голубизной.

Как в море пасмурном, где гулы,
Где спят сокровища на дне,
Там кубок короля из Фулы
Откроют в голубой волне.

В прозрачности чуть-чуть лиловой,
Среди медуз и багреца,
Спит жемчуг Клеопатры новый
Близ Соломонова кольца.

Корона, отданная безднам
В балладе Шиллера, еще,
Смеясь усильям бесполезным,
Блестит светло и горячо.

И я прикован к этим взглядам
По воле непонятных чар,
Так в глубину морей к наядам
Гаральд стремился Гарфагар.

Моя душа с тоской тревожной
Неистребляемой мечты
Бросается за тенью ложной
В провалы мрачной пустоты.

Открывши грудь, но хвост свой спрятав,
Сирена юная плывет,
Бела при отсвете закатов
На голубой эмали вод.

Как от любовного признанья
Девичья грудь, дрожит вода,
Бормочет ветер заклинанья
В глубинах раковин всегда.

«Oh! viens dans ma couche de nacre,
Mes bras d'onde t'enlaceront;
Les flots, perdant leur saveur âcre,
Sur ta bouche, en miel couleront.

«Laissant bruire sur nos têtes
La mer qui ne peut s'apaiser,
Nous boirons l'oubli des tempêtes
Dans la coupe de mon baiser.»

Ainsi parle la voix humide
De ce regard céruléen,
Et mon cœur, sous l'onde perfide,
Se noie et consomme l'hymen.

RONDALLA

Enfant aux airs d'impératrice,
Colombe aux regards de faucon,
Tu me hais, mais c'est mon caprice,
De me planter sous ton balcon.

Là, je veux, le pied sur la borne,
Pinçant les nerfs, tapant le bois,
Faire luire à ton carreau morne
Ta lampe et ton front à la fois.

Je défends à toute guitare
De bourdonner aux alentours.
Ta rue est à moi: — je la barre
Pour y chanter seul mes amours,

Et je coupe les deux oreilles
Au premier racleur de jambon
Qui devant la chambre où tu veilles
Braille un couplet mauvais ou bon.

”О, приходи ко мне на ложе,
Так сладко руки обовьют,
Не будут горьки волны — тоже
На губы медом притекут.

Оставив наверху рыдания
Грозы, тревожащей лазурь,
Мы в кубке моего лобзания
Земных забвенье выпьем бурь”.

Так голос, влажный голос стонет,
Очей Цирцеи манит мрак,
И сердце в зыбкой влаге тонет
И предвкушает скорый брак.

РОНДАЛЛА

Ребенок с видом герцогини,
Голубка, сокола страшной,
Меня не любишь ты, но ныне
Я буду у твоих дверей.

И там стоять я буду, струны
Щипля и в дерево стуча,
Пока твой белый лоб и юный
Не озарит в огне свеча.

Я запрещу другим гитарам
Поблизости меня звенеть,
Твой переулок мне... не даром
Я говорю другим: не смей!

И я отрежу оба уха
Нахалу, если только он
Куплет свой звонко или глухо
Придет запеть под твой балкон.

Dans sa gaine mon couteau bouge;
Allons, qui veut de l'incarnat?
A son jabot qui veut du rouge
Pour faire un bouton de grenat?

Le sang dans les veines s'ennuie,
Car il est fait pour se montrer;
Le temps est noir, gare la pluie!
Poltrons, hâtez-vous de rentrer.

Sortez, vaillants! sortez, bravaches!
L'avant-bras couvert du manteau,
Que sur vos faces de gavaches
J'écrive des croix au couteau!

Qu'ils s'avancent! seuls ou par bande,
De pied ferme je les attends.
A ta gloire il faut que je fende
Les naseaux de ces capitans.

Au ruisseau qui gêne ta marche
Et pourrait salir tes pieds blancs,
Corps du Christ! je veux faire une arche
Avec les côtes des galants.

Pour te prouver combien je t'aime,
Dis, je tuerai qui tu voudras:
J'attaquerai Satan lui-même,
Si pour linceul j'ai tes deux draps.

Porte sourde! — Fenêtre aveugle!
Tu dois pourtant ouïr ma voix;
Comme un taureau blessé je beugle,
Des chiens excitant les abois!

Au moins plante un clou dans ta porte,
Un clou pour accrocher mon cœur.
A quoi sert que je le remporte
Fou de rage, mort de langueur?

Мой нож шевелится, как пьяный,
Ну что ж! Кто любит красный цвет?
Кто хочет краски для кафтана,
Гранатов алых для манжет?

Ах, крови в жилах слишком скучно,
Не вечно ж ей томиться там,
А ночь темна, а ночь беззвучна;
Спешите трусы по домам.

Вперед, задиры! Вы без страха,
И нет для вас запретных мест,
На ваших лбах моя наваха
Запечатлеет рваный крест.

Пускай идут, один иль десять,
Рыча как бешеные псы,
Я в честь твою хочу привесить
Себе на пояс их носы.

И над канавкой, что обычно
Марают шелк чулок твоих,
Я мост устрою, и отличный,
Из тел красавцев молодых.

Ах, если саван мне обещан
Из двух простынь твоих, войну
Я подниму средь адских трещин,
Я нападну на сатану.

Глухая дверь! Окно слепое!
Ты можешь слышать голос мой,
Так бык пронзенный, землю роя,
Ревет, а вокруг собачий вой.

О хоть бы гвоздь был в этой дверце,
Чтоб муки прекратить мои.
К чему мне жить, скрывая в сердце
Томленье злобы и любви?

NOSTALGIES D'OBÉLISQUES

I

L'OBÉLISQUE DE PARIS

Sur cette place je m'ennuie,
Obélisque dépareillé;
Neige, givre, bruine et pluie
Glacent mon flanc déjà rouillé;

Et ma vieille aiguille, rougie
Aux fournaises d'un ciel de feu,
Prend des pâleurs de nostalgie
Dans cet air qui n'est jamais bleu.

Devant les colosses moroses
Et les pylônes de Luxor,
Près de mon frère aux teintes roses
Que ne suis-je debout encor,

Plongeant dans l'azur immuable
Mon pyramydion vermeil,
Et de mon ombre, sur le sable,
Écrivant les pas du soleil!

Rhamsès, un jour mon bloc superbe,
Où l'éternité s'ébréçait,
Roula fauché comme un brin d'herbe,
Et Paris s'en fit un hochet.

La sentinelle granitique,
Gardienne des énormités,
Se dresse entre un faux temple antique
Et la chambre des députés.

Sur l'échafaud de Louis Seize,
Monolithe au sens aboli,

НОСТАЛЬГИЯ ОБЕЛИСКОВ

I

ПАРИЖСКИЙ ОБЕЛИСК

Разрозненному обелиску
На площади что за тоска!
Снег, дождь, туман, нависший низко,
Мертвят изрытые бока.

Мой старый шпиль, что был победным
В печи под солнцем золотым,
Он бледен здесь, под небом бледным
И никогда не голубым.

Перед колоссом непреклонным
В Луксоре, там, где горячо,
Там с братом, солнцем озаренным,
Зачем я не стою еще.

Чтоб в небо острие вонзала
Моя пурпурная игла
И чтобы на песке писала
Путь солнца тень моя, светла.

Рамзес мой камень величавый,
В котором, Вечность, ты молчишь!
Швырнул, как горсть травы трухлявой,
И подобрал его Париж.

Свидетель пламенных закатов,
Сородич гордых пирамид,
Перед палатой депутатов
И храмом-шуткою стоит.

На эшафоте Людовика
Утес, кому уж близких нет,

On a mis mon secret, qui pèse
Le poids de cinq mille ans d'oubli.

Les moineaux francs souillent ma tête,
Où s'abattaient dans leur essor
L'ibis rose et le gypaète
Au blanc plumage, aux serres d'or.

La Seine, noir égout de rues,
Fleuve immonde fait de ruisseaux,
Salit mon pied, que dans ses crues
Baisait le Nil, père des eaux,

Le Nil, géant à barbe blanche
Coiffé de lotus et de joncs,
Versant de son urne qui penche
Des crocodiles pour goujons!

Les chars d'or étoilés de nacre
Des grands pharaons d'autrefois
Rasaient mon bloc heurté du fiacre
Emportant le dernier des rois.

Jadis, devant ma pierre antique,
Le pschent au front, les prêtres saints
Promenaient la bari mystique
Aux emblèmes dorés et peints;

Mais aujourd'hui, pilier profane
Entre deux fontaines campé,
Je vois passer la courtisane
Se renversant dans son coupé.

Je vois, de janvier à décembre,
La procession des bourgeois,
Les Solons qui vont à la chambre,
Et les Arthurs qui vont au bois.

Взвалили мой секрет, великий
Забвеньем пяти тысяч лет.

И, откровенные ребята,
Мой лоб марают воробьи,
Где только ибисы когда-то
Держали сборища свои.

А Сена, грязная канава,
Грязнит мои устои там,
Где их, разлившись величаво,
Нил целовал, отец богам.

Гигант седой, всегда безбурный,
Средь лотусов и тростника
Выплескивающий из урны
Рой крокодилов в пыль песка.

И фараоны, словно сказка,
Стремились вдоль стены моей,
Где ныне катится коляска
Последнего из королей.

Когда-то пред моей колонной
Толпа восторженных жрецов
Слагала танец, вдохновенный
Окраской яркою богов.

А ныне жалкому останку
Стоять на городской тропе,
Любуясь на куртизанку,
Простертую в своем купе!

Я вижу горожан, за плату
Волнующихся полчаса,
Солонов, что идут в палату,
Артуров, что идут в леса.

Oh! dans cent ans quels laids squelettes
Fera ce peuple impie et fou,
Qui se couche sans bandelettes
Dans des cercueils que ferme un clou,

Et n'a pas même d'hypogées
A l'abri des corruptions,
Dortoirs où, par siècles rangées,
Plongent les générations!

Sol sacré des hiéroglyphes
Et des secrets sacerdotaux,
Où les sphynx s'aiguisent les griffes
Sur les angles des piédestaux,

Où sous le pied sonne la crypte,
Où l'épervier couve son nid,
Je te pleure, ô ma vieille Égypte,
Avec des larmes de granit!

II

L'OBELISQUE DE LUXOR

Je veille, unique sentinelle
De ce grand palais dévasté,
Dans la solitude éternelle,
En face de l'immensité.

A l'horizon que rien ne borne,
Stérile, muet, infini,
Le désert sous le soleil morne,
Déroule son linceul jauni.

Au-dessus de la terre nue,
Le ciel, autre désert d'azur,
Où jamais ne flotte une nue,
S'étale implacablement pur.

О, самой мерзостной из сказок
Род этот явится в веках,
Что засыпает без повязок
В едва сколоченных гробах.

И не имеет даже тени
Неколебимых пирамид
Земля, где сотня поколений,
Уложена веками, спит.

Страна святых иероглифов,
Где некогда и я стоял,
Где когти сфинксов или грифов
О мой точились пьедестал.

И где звенит обломок крипта
Под дерзновенною ногой!
Я плачу о земле Египта
Своею каменной слезой.

II

ЛУКСОРСКИЙ ОБЕЛИСК

Стою, единственную стражей
Опустошенному дворцу,
В уединеньи, как в мираже,
И с вечностью лицом к лицу.

На горизонте бесконечном,
Ненужный, горький и немой,
Развертывает в блеске вечном
Пустыня желтый саван свой.

И над землей, от солнца жгучей,
Другой пустыни высота,
Где никогда не бродят тучи,
Висит безжалостно чиста!

Le Nil, dont l'eau morte s'étame
D'une pellicule de plomb,
Luit, ridé par l'hippopotame,
Sous un jour mat tombant d'aplomb;

Et les crocodiles rapaces,
Sur le sable en feu des îlots,
Demi-cuits dans leurs carapaces,
Se pâment avec les sanglots.

Immobile sur son pied grêle,
L'ibis, le bec dans son jabot,
Déchiffre au bout de quelque stèle
Le cartouche sacré de Thot.

L'hyène rit, le chacal miaule,
Et, traçant des cercles dans l'air,
L'épervier affamé piaule,
Noire virgule du ciel clair.

Mais ces bruits de la solitude
Sont couverts par le bâillement
Des sphinx, lassés de l'attitude
Qu'ils gardent immuablement.

Produit des blancs reflets du sable
Et du soleil toujours brillant,
Nul ennui ne t'est comparable,
Spleen lumineux de l'Orient!

C'est toi qui faisais crier: Grâce!
A la satiété des rois
Tombant vaincus sur leur terrasse,
Et tu m'écrases de ton poids.

Ici jamais le vent n'essuie
Une larme à l'œil sec des cieux,

А Нил сверкает перед храмом
Струей топленного свинца,
Волнуемый гиппопотамом
И истомленный до конца.

Прожорливые крокодилы
В песке горячих островов,
Полусваренные, без силы,
Печальный поднимают рев.

И неподвижный ибис что-то
Бормочет, ногу подогнув,
В иероглифы бога Тота
Стучит его огромный клюв.

Шакал мяучит, убегая,
И, в воздухе круги чертя,
Голодный коршун, запятая
В лазури, плачет, как дитя.

Но звуки стонов отдаленных
Покрыли тяжестью зевка
Два сфинкса, позой утомленных,
В которой спят они века.

Дитя пылающего ока
И белых отсветов песка,
С тобою, о тоска Востока,
Сравнится ль чья-нибудь тоска!

Заставишь ты просить пощады
Пресыщенность земных царей,
Тоскующих у балюстрады, —
И я под тяжестью твоей.

Здесь ветер никогда не сушит
Слезу в сухих глазах небес

Et le temps fatigué s'appuie
Sur les palais silencieux.

Pas un accident ne dérange
La face de l'éternité;
L'Égypte, en ce monde où tout change,
Trône sur l'immobilité.

Pour compagnons et pour amies,
Quand l'ennui me prend par accès,
J'ai les fellahs et les momies
Contemporaines de Rhamsès;

Je regarde un pilier qui penche,
Un vieux colosse sans profil
Et les canges à voile blanche
Montant ou descendant le Nil.

Que je voudrais comme mon frère,
Dans ce grand Paris transporté,
Auprès de lui, pour me distraire,
Sur une place être planté!

Là-bas, il voit à ses sculptures
S'arrêter un peuple vivant,
Hiératiques écritures,
Que l'idée épelle en rêvant.

Les fontaines juxtaposées,
Sur la poudre de son granit
Jettent leurs brumes irisées;
Il est vermeil, il rajeunit!

Des veines roses de Syène
Comme moi cependant il sort,
Mais je reste à ma place ancienne;
Il est vivant et je suis mort!

И время медленное душит
Дворцы и тихих башен лес.

Здесь случаем, всегда мгновенным,
Лик вечности не омрачен,
Египет в мире переменном
На неизменном ставит трон.

Товарищей в часы раздумий,
Когда тоска встает, горя,
Феллахов вижу я и мумий,
Рамзеса помнящих царя.

Я вижу строй ненужных арок,
Колосса, что без сил поник,
И паруса тяжелых барок,
На Ниле зыблущих тростник.

Как я хотел бы вместе с братом —
Увижу ль я его опять? —
В Париже, городе богатом,
На белой площади стоять.

Там у его огромной тени
Сбирается народ живой
Смотреть на ряд изображений,
Что наполняют ум мечтой.

Друг перед другом встав, фонтаны
На вековой его гранит
Бросают радуги-туманы,
Он молодеет, он царит.

Из розоватых жил Сиены,
Как я, однако, вышел он,
Но мне стоять без перемены,
Он жив, а я похоронен.

VIEUX DE LA VIEILLE

15 DÉCEMBRE

Par l'ennui chassé de ma chambre,
J'errais le long du boulevard:
Il faisait un temps de décembre,
Vent froid, fine pluie et brouillard;

Et là je vis, spectacle étrange,
Échappés du sombre séjour,
Sous la bruine et dans la fange,
Passer des spectres en plein jour.

Pourtant c'est la nuit que les ombres,
Par un clair de lune allemand,
Dans les vieilles tours en décombres,
Reviennent ordinairement;

C'est la nuit que les Elfes sortent
Avec leur robe humide au bord,
Et sous les nénuphars emportent
Leur valseur de fatigue mort;

C'est la nuit qu'a lieu la revue
Dans la ballade de Zedlitz,
Où l'Empereur, ombre entrevue,
Compte les ombres d'Austerlitz.

Mais des spectres près du Gymnase,
A deux pas des Variétés,
Sans brume ou linceul qui les gaze,
Des spectres mouillés et crottés!

Avec ses dents jaunes de tartre,
Son crâne de mousse verdi,
A Paris, boulevard Montmartre,
Mob se montrant en plein midi!

СТАРАЯ ГВАРДИЯ

15 ДЕКАБРЯ

Тоскою выгнанный из дома,
Я вяло вышел на бульвар,
Была осенняя истома,
Холодный ветер, мокрый пар.

И я увидел призрак странный,
Бежавший из далеких дней,
По грязи и во мгле туманной
Скитающихся днем теней.

Однако это ночью тени
При свете Рейнской луны
На обветшалые ступени
Всегда всходить осуждены.

Ведь это ночью эльфы бродят,
В одеждах длинных и сырых,
И мертвого танцора сводят
Под сень кувшинок золотых.

И это ночью, по балладе
Зейдлица, видно место то,
Где Император на параде
Проходит в шляпе и пальто.

Но призраки вблизи Gymnase'a,
От Варьете в пяти шагах,
Без савана, при свете газа,
В сырых, дырявых сапогах!

Высовывает череп старый,
Морщинами покрытый лоб
В Париже, посреди бульвара
Являющийся в полдень Моб!

La chose vaut qu'on la regarde:
Trois fantômes de vieux grognards,
En uniformes de l'ex-garde,
Avec deux ombres de hussards!

On eût dit la lithographie
Où, dessinés par un rayon,
Les morts, que Raffet déifie,
Passent, criant: Napoléon!

Ce n'était pas les morts qu'éveille
Le son du nocturne tambour,
Mais bien quelques *vieux de la vieille*
Qui célébraient le grand retour.

Depuis la suprême bataille,
L'un a maigri, l'autre a grossi;
L'habit jadis fait à leur taille
Est trop grand ou trop rétréci.

Nobles lambeaux, défroque épique,
Saints haillons, qu'étoile une croix,
Dans leur ridicule héroïque
Plus beaux que des manteaux de rois!

Un plumet énervé palpite
Sur leur kolbach fauve et pelé;
Près des trous de balle, la mite
A rongé leur dolman criblé;

Leur culotte de peau trop large
Fait mille plis sur leur fémur;
Leur sabre rouillé, lourde charge,
Creuse le sol et bat le mur;

Ou bien un embonpoint grotesque,
Avec grand-peine boutonné,
Fait un poussah, dont on rit presque,
Du vieux héros tout chevronné.

Найдется ль для события имя:
Три призрака, и каждый стар,
В гвардейской форме, а за ними
Две новых тени, двух гусар!

Как бы с раскрашенной гравюры,
Которой был Раффе пленен,
Истлевших воинов фигуры,
Кричащие: Наполеон!

Но то не мертвые кошмары,
Что ночью трубы шевелят,
А только старые из старой,
Великий празднуя возврат.

Ах, после памятного боя
Раздался этот, тот поблек,
Костюм изящного покроя
То слишком узок, то широк.

Тряпье исчезнувшего войска,
Лохмотья, что пленяли мир,
В своей забавности геройской
Прекрасней царственных порфир!

Плюмаж над шапкою медвежей,
Согнутой поперек и вдоль,
И доломан, увы, не свежий,
Вкруг дыр от пуль изъела моль.

В пыли и складках панталоны,
Года лежавшие в тиши,
Стучат о встречные колонны
Заржавленные палаши.

Или камзол необычайный,
Застегнутый с большим трудом,
Попробуйте послушать — тайно
Трещит на воине седом.

Ne les raillez pas, camarade ;
Saluez plutôt chapeau bas
Ces Achilles d'une Iliade
Qu'Homère n'inventerait pas,

Respectez leur tête chenue !
Sur leur front par vingt cieux bronzé,
La cicatrice continue
Le sillon que l'âge a creusé.

Leur peau, bizarrement noircie,
Dit l'Égypte aux soleils brûlants ;
Et les neiges de la Russie
Poudrent encor leurs cheveux blancs.

Si leurs mains tremblent, c'est sans doute
Du froid de la Bérésina ;
Et s'ils boient, c'est que la route
Est longue du Caire à Wilna ;

S'ils sont perclus, c'est qu'à la guerre
Les drapeaux étaient leurs seuls draps ;
Et si leur manche ne va guère,
C'est qu'un boulet a pris leur bras.

Ne nous moquons pas de ces hommes
Qu'en riant le gamin poursuit ;
Ils furent le jour dont nous sommes
Le soir et peut-être la nuit.

Quand on oublie, ils se souviennent !
Lancier rouge et grenadier bleu,
Au pied de la colonne, ils viennent
Comme à l'autel de leur seul dieu.

Là, fiers de leur longue souffrance,
Reconnaissants des maux subis,
Ils sentent le cœur de la France
Battre sous leurs pauvres habits.

Но нет, смеяться вам не надо;
Скорей приветствуйте опять
Ахиллов новой Илиады,
Какой Гомеру не создать.

Цените жесткость гривы львиной,
Что устрашала города,
И углубленные морщины,
Что в лоб их врезали года.

Их щеки странно почернели
В стране лучей и пирамид,
И русской бешенство метели
Еще их кудри серебрят.

Их руки красны и бессильны
От холода Березины;
Хромают — из Каира в Вильно
Дороги плохи и длинны;

Хрипят — служили им в походе
Знамена вместо одеял;
Висит рукав их не по моде,
Так, значит, выстрел руку взял.

Не смейся же над их убором,
Болезней славных не порочь,
Они ведь были день, в котором
Мы — вечер и, быть может, ночь.

Забыли мы — они находят
О прошлом яркие слова,
Под тень колонны все приходят,
Как к алтарю их божества.

Как прежде, ярок взор и блещет,
И горд страданиями в былом,
И сердце Франции трепещет
Под их изношенным тряпьем.

Aussi les pleurs trempent le rire
En voyant ce saint carnaval,
Cette mascarade d'empire,
Passer comme un matin de bal ;

Et l'aigle de la grande armée
Dans le ciel qu'emplit son essor,
Du fond d'une gloire enflammée,
Étend sur eux ses ailes d'or !

TRISTESSE EN MER

Les mouettes volent et jouent ;
Et les blancs coursiers de la mer,
Cabrés sur les vagues, secouent
Leurs crins échevelés dans l'air.

Le jour tombe ; une fine pluie
Éteint les fournaies du soir,
Et le steam-boat crachant la suie
Rabat son long panache noir.

Plus pâle que le ciel livide
Je vais au pays du charbon,
Du brouillard et du suicide ;
— Pour se tuer le temps est bon.

Mon désir avide se noie
Dans le gouffre amer qui blanchit ;
Le vaisseau danse, l'eau tournoie,
Le vent de plus en plus fraîchit.

Oh ! je me sens l'âme navrée ;
L'Océan gonfle, en soupirant,
Sa poitrine désespérée,
Comme un ami qui me comprend.

И смех улыбку заменяет,
Когда священный карнавал
В одеждах странных проплывает,
Как бы собравшийся на бал;

А, вставший в тучи грозовые,
Великой Армии орел
Над ними крылья золотые
Раскинул, словно ореол.

ТОСКА НА МОРЕ

Играют чайки и порхают,
А кони белые морей,
Вздываясь в волнах, потрясают
Косматой гривой своей.

День падает; дождем незримым
Закатный омрачен мираж,
И пароход плюется дымом,
Еще черней его панаш.

Бледней, чем небо океана,
Я уношусь в страну угля,
Самоубийства и тумана —
Убить себя, вот так, дремля!

Мое желанье жадно тонет
Средь горьких бездн, где дух поник,
Танцует судно, влага стонет,
Свежеет ветер каждый миг.

Ах, у меня душа тревожна;
Вздывает океан, стена,
Грудь тягостно и безнадежно,
Как друг, жалеющий меня.

Allons, peines d'amour perdues,
Espoirs lassés, illusions
Du socle idéal descendues,
Un saut dans les moites sillons!

A la mer, souffrances passées,
Qui revenez toujours, pressant
Vos blessures cicatrisées
Pour leur faire pleurer du sang!

A la mer, spectre de mes rêves,
Regrets aux mortelles pâleurs
Dans un cœur rouge ayant sept glaives,
Comme la Mère des douleurs.

Chaque fantôme plonge et lutte
Quelques instants avec le flot
Qui sur lui ferme sa volute
Et l'engloutit dans un sanglot.

Lest de l'âme, pesant bagage,
Trésors misérables et chers,
Sombrez, et dans votre naufrage
Je vais vous suivre au fond des mers!

Bleuâtre, enflé, méconnaissable,
Bercé par le flot qui bruit,
Sur l'humide oreiller du sable
Je dormirai bien cette nuit!

...Mais une femme dans sa mante
Sur le pont assise à l'écart,
Une femme jeune et charmante
Lève vers moi son long regard.

Dans ce regard, à ma détresse
La Sympathie aux bras ouverts
Parle et sourit, sœur ou maîtresse.
Salut, yeux bleus! bonsoir, flots verts!

Ну что же сны любви бывалой,
Надежды мертвые, мечты,
Покинувшие пьедесталы, —
Прыжок в бездонность с высоты!

О, в море муки и обманы,
Мне отравившие все дни,
Давя закрывшиеся раны,
Чтоб кровью плакали они,

На дно, о призраки мечтаний,
Глухих раскаянья ночей,
Что носят, словно Мать Страданий,
В кровавом сердце семь мечей.

И каждый призрак жалко бьется
Одно мгновенье над волной,
Которая над ним взнесется,
Поглотит и поднимет вой.

Мучительны и бесполезны,
Вы были счастьем бытия,
Тоните же, но знайте: в бездны
За вами вслед уйду и я!

Распухший, страшный, с черной кровью,
Безмолвно слушая волну,
Склонясь к сырому изголовью,
Сегодня сладко я засну!

...Но женщина, что, созерцая,
Сидела тут же в стороне,
Прелестная и молодая,
Вдруг повернула взор ко мне.

И в этом взоре всей печали
Симпатия дает ответ.
Прощайте, волны цвета стали,
Глазам лазоревым привет!

Les mouettes volent et jouent ;
Et les blancs coursiers de la mer,
Cabrés sur les vagues, secouent
Leurs crins échevelés dans l'air.

À UNE ROBE ROSE

Que tu me plais dans cette robe
Qui te déshabille si bien,
Faisant jaillir ta gorge en globe,
Montrant tout nu ton bras païen!

Frêle comme une aile d'abeille,
Frais comme un cœur de rose-thé,
Son tissu, caresse vermeille,
Voltige autour de ta beauté.

De l'épiderme sur la soie
Glissent des frissons argentés,
Et l'étoffe à la chair renvoie
Ses éclairs roses reflétés.

D'où te vient cette robe étrange
Qui semble faite de ta chair,
Trame vivante qui mélange
Avec ta peau son rose clair?

Est-ce à la rougeur de l'aurore,
A la coquille de Vénus,
Au bouton de sein près d'éclore,
Que sont pris ces tons inconnus?

Ou bien l'étoffe est-elle teinte
Dans les roses de ta pudeur?
Non ; vingt fois modelée et peinte,
Ta forme connaît sa splendeur.

Играют чайки и порхают,
А кони белые морей,
Вздываясь в волнах, потрясаят
Косматой гривой своей.

К РОЗОВОМУ ПЛАТЬЮ

Люблю я розовое платье,
Тебя раздевшее легко:
И руки наги для объятия,
И грудь поднялась высоко!

Светла, как сердце розы чайной,
Прозрачна, как крыло пчелы,
Чуть розовеет ткань и тайно
Тебе поет свои хвалы.

От кожи на шелка слетели
Ряды серебряных теней
И ткани отблески на теле
Еще свежей и розовой.

Откуда ты его достала
Похожим на тебя одну,
Смотри: оно в себе смешало
И розовость, и белизну.

То раковина ль Афродиты,
Заря, что пламенной вина,
Иль груди, что почти налиты,
Ему снесли свои тона?

Иль, может быть, те переливы
Лишь розы твоего стыда?
Нет, горделива и красива,
Ты не смутишься никогда.

Jetant le voile qui te pèse,
Réalité que l'art rêva,
Comme la princesse Borghèse
Tu poserais pour Canova.

Et ces plis roses sont les lèvres
De mes désirs inapaisés,
Mettant au corps dont tu les sèves,
Une tunique de baisers.

LE MONDE EST MÉCHANT

Le monde est méchant, ma petite:
Avec son sourire moqueur
Il dit qu'à ton côté palpite
Une montre en place de cœur.

— Pourtant ton sein ému s'élève
Et s'abaisse comme la mer,
Aux bouillonnements de la sève,
Circulant sous ta jeune chair.

Le monde est méchant, ma petite:
Il dit que tes yeux vifs sont morts
Et se meuvent dans leur orbite
A temps égaux et par ressorts.

— Pourtant une larme irisée
Tremble à tes cils, mouvant rideau,
Comme une perle de rosée
Qui n'est pas prise au verre d'eau.

Le monde est méchant, ma petite:
Il dit que tu n'as pas d'esprit,
Et que les vers qu'on te récite
Sont pour toi comme du sanscrit.

Долой, докучная завеса!
И пред Кановой смело ты
Откроешь, словно та принцесса,
Сокровищницу красоты.

И эти складки — только губы
Моих желаний грозových,
Хотящих нежно или грубо
Покрыть тебя лобзаньем их.

СВЕТ ЖЕСТОК

Как свет жесток, моя малютка:
Как утверждать всегда он рад —
В твоей груди — о злая шутка! —
Не сердце, а часы стучат.

Но грудь твоя встает высоко
И падает, как гладь морей,
В кипеньи пурпурного сока
Под кожей юною твоей.

Как свет жесток, моя малютка:
Он уверяет, что глаза
Твои мертвы, вращаясь жутко,
Как от пружин, раз в полчаса.

Но почему же, покрывало
Мерцающее, капли слез
В твоих глазах горят устало,
Как просиявший жемчуг рос.

Как свет жесток, моя малютка:
Подумай лишь, он говорит,
Что ты стихам внимаешь чутко,
А для тебя они санскрит.

— Pourtant, sur ta bouche vermeille,
Fleur s'ouvrant et se refermant,
Le rire, intelligente abeille,
Se pose à chaque trait charmant.

C'est que tu m'aimes, ma petite,
Et que tu hais tous ces gens-là.
Quitte-moi; — comme ils diront vite:
Quel cœur et quel esprit elle a!

INÈS DE LAS SIERRAS

À LA PETRA CAMARA

Nodier raconte qu'en Espagne
Trois officiers cherchant un soir
Une venta dans la campagne,
Ne trouvèrent qu'un vieux manoir;

Un vrai château d'Anne Radcliffe,
Aux plafonds que le temps ploya,
Aux vitraux rayés par la griffe
Des chauves-souris de Goya,

Aux vastes salles délabrées,
Aux couloirs livrant leur secret,
Architectures effondrées
Où Piranèse se perdrait.

Pendant le souper, que regarde
Une collection d'aïeux
Dans leurs cadres montant la garde,
Un cri répond aux chants joyeux;

D'un long corridor en décombres,
Par la lune bizarrement
Entrecoupé de clairs et d'ombres,
Débusque un fantôme charmant;

Но губы у тебя как сладкий
Цветок, хранилище утех,
И там трепещет в каждой складке
Понятливою пчелкой смех.

Поверь, за то тебя бесславят,
Что ненавидишь ты их шум,
Оставь меня, и все объявят:
— Какое сердце, что за ум!

ИНЬЕССА СИЕРРЫ

ПЕТРА КАМАРА

Однажды посреди Сиерры,
Рассказывает нам Нодье,
Как в венте, на ночь офицеры
Остались в брошенном жилье.

Там были погнуты устои,
В окне ни одного стекла,
Летучими мышами Гойи
Подчас прорезывалась мгла.

И ржа желтела на железе,
Ряд лестниц в небеса взбегал,
Чернели ниши — Пиранези
Терялся средь подобных зал.

Был шумный ужин, над которым
Строй предков с полотна поник,
Но вдруг со звонким, юным хором
Смешался чей-то жалкий крик.

Из коридора, там, где с треском
Летит со стен за комом ком,
Где мрак изрезан лунным блеском,
Прелестный выбежал фантом.

Peigne au chignon, basquine aux hanches,
Une femme accourt en dansant,
Dans les bandes noires et blanches
Apparaissant, disparaissant.

Avec une volupté morte,
Cambrant les reins, penchant le cou,
Elle s'arrête sur la porte,
Sinistre et belle à rendre fou.

Sa robe, passée et fripée
Au froid humide des tombeaux,
Fait luire, d'un rayon frappée,
Quelques paillons sur ses lambeaux ;

D'un pétale découronnée
A chaque soubresaut nerveux,
Sa rose, jaunie et fanée,
S'effeuille dans ses noirs cheveux.

Une cicatrice, pareille
A celle d'un coup de poignard,
Forme une cõuture vermeille
Sur sa gorge d'un ton blafard ;

Et ses mains pâles et fluettes,
Au nez des soupeurs pleins d'effroi
Entrechoquent les castagnettes,
Comme des dents claquant de froid.

Elle danse, morne bacchante,
La cachucha sur un vieil air,
D'une grâce si provocante,
Qu'on la suivrait même en enfer.

Ses cils palpitent sur ses joues
Comme des ailes d'oiseau noir,
Et sa bouche arquée a des moues
A mettre un saint au désespoir.

То женщина, как змей свиваясь,
Танцует — платье до колен,
Показываясь и скрываясь,
Сердца захватывая в плен.

И, чувственная без исхода,
Вздымая грудь, дрожа сама,
Она становится у входа
И сводит прелестью с ума.

Ее костюм, что стал так жесток
В холодном сумраке могил,
Вдруг озаренный, пару блесток
На рваном рубище открыл.

От странно-необычной позы,
От сумасшедшего прыжка
В кудрях увянувшие розы,
Увы, почти без лепестка.

И рана, будто там бывало
Кинжала злое острие,
Полоской протянулась алой
На шее мертвенной ее.

А руки, где блестят браслеты,
Гостям дрожащим прямо в нос
Протягивают кастаньеты,
Как зубы, что стучат в мороз.

Танцует, мрачною вакханкой,
Качучу на старинный лад
И сладкой кажется приманкой,
Чтоб уводить безумцев в ад.

Как крылья, что раскрыли совы,
Дрожат ресницы на щеках,
И ямки возле рта — святого
Лишили бы небесных благ.

Quand de sa jupe qui tournoie
Elle soulève le volant,
Sa jambe, sous le bas de soie,
Prend des lueurs de marbre blanc.

Elle se penche jusqu'à terre,
Et sa main, d'un geste coquet,
Comme on fait des fleurs d'un parterre
Groupe les désirs en bouquet.

Est-ce un fantôme? est-ce une femme?
Un rêve, une réalité,
Qui scintille comme une flamme
Dans un tourbillon de beauté?

Cette apparition fantasque,
C'est l'Espagne du temps passé,
Aux frissons du tambour de basque
S'élançant de son lit glacé,

Et, brusquement ressuscitée
Dans un suprême boléro,
Montrant sous sa jupe argentée
La *divisa* prise au taureau.

La cicatrice qu'elle porte,
C'est le coup de grâce donné
A la génération morte,
Par chaque siècle nouveau-né.

J'ai vu ce fantôme au Gymnase,
Où Paris entier l'admira,
Lorsque dans son linceul de gaze
Parut la Petra Camara,

Impassible et passionnée,
Fermant ses yeux morts de langueur,
Et comme Inès l'assassinée
Dansant, un poignard dans le cœur!

Под краем юбки, что взлетела,
Безумным взнесена прыжком,
Сверкает мраморное тело,
Нога под шелковым чулком.

Она бежит и стан склоняет;
Рука, белей которой нет,
Как бы цветы, соединяет
Желанья жадные в букет.

То женщина иль привиденье,
Действительность иль только сон,
Дрожащий, как огня кипенье,
И в вихре красоты взнесен?

Нет, эта странная фигура —
Испания прошедших дней,
Под звоны баскского тамбура
Бежавшая из стран теней.

И, воскрешенная так сразу
В последнем этом болеро,
Показывает нам из газа
Тореадора серебро.

И рана, спрятанная тенью,
Удар смертельный, что дает
Исчезнувшему поколенью,
Рождаясь, каждый новый год.

Я вспомнил все в стенах Gymnase'a,
Где весь Париж дрожал вчера,
Когда, как в саване из газа,
Явилась Петра Камара.

Над взорами ресниц завеса,
Едва скрывающая дрожь;
И, как убитая Иньесса,
Она плясала — в сердце нож.

ODELETTE ANACRÉONTIQUE

Pour que je t'aime, ô mon poète,
Ne fais pas fuir par trop d'ardeur
Mon amour, colombe inquiète,
Au ciel rose de la pudeur.

L'oiseau qui marche dans l'allée
S'effraye et part au moindre bruit;
Ma passion est chose ailée
Et s'envole quand on la suit.

Muet comme l'Hermès de marbre,
Sous la charmille pose-toi;
Tu verras bientôt de son arbre
L'oiseau descendre sans effroi.

Tes tempes sentiront près d'elles,
Avec des souffles de fraîcheur,
Une palpitation d'ailes
Dans un tourbillon de blancheur,

Et la colombe apprivoisée
Sur ton épaule s'abattra,
Et son bec à pointe rosée
De ton baiser s'enivrera.

FUMÉE

Là-bas, sous les arbres s'abrite
Une chaumière au dos bossu;
Le toit penche, le mur s'effrite,
Le seuil de la porte est moussu.

La fenêtre, un volet la bouche;
Mais du taudis, comme au temps froid
La tiède haleine d'une bouche,
La respiration se voit.

АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА

Ты хочешь, чтоб была я смелой,
Так не пугай, поэт, тогда
Моей любви, голубки белой,
На небе розовом стыда.

Идет голубка по аллее,
И в каждом чудится ей враг,
Моя любовь еще нежнее —
Бежит, коль к ней направить шаг.

Немой, как статуя Гермеса,
Остановись, и вздрогнет бук,
Смотри, к тебе из чащи леса
Уже летит крылатый друг.

И ты почувствуешь дыханье
Какой-то ласковой волны
И легких, легких крыл плесканье
В сверканьи сладком белизны.

И прирученная голубка
Слетит к тебе, уже твоя,
Чтобы из клюва, как из кубка,
Ты выпил сладость бытия.

ДЫМ

Там под деревьями сокрыта
Совсем горбатая изба;
На крыше сор, стена пробита,
И мох у каждого столба.

Окно — оно закрыто тряпкой;
Но из норы, как бы зимой
Пар теплый рот пускает зябкий... —
Дыханье видно над трубой.

Un tire-bouchon de fumée
Tournant son mince filet bleu,
De l'âme en ce bouge enfermée
Porte des nouvelles à Dieu.

APOLLONIE

J'aime ton nom d'Apollonie,
Écho grec du sacré vallon,
Qui, dans sa robuste harmonie,
Te baptise sœur d'Apollon.

Sur la lyre au plectre d'ivoire,
Ce nom splendide et souverain,
Beau comme l'amour et la gloire,
Prend des résonances d'airain.

Classique, il fait plonger les Elfes
Au fond de leur lac allemand,
Et seule la Pythie à Delphes
Pourrait le porter dignement,

Quand relevant sa robe antique
Elle s'assoit au trépied d'or,
Et dans sa pose fatidique
Attend le Dieu qui tarde encor.

L'AVEUGLE

Un aveugle au coin d'une borne,
Hagard comme au jour un hibou,
Sur son flageolet, d'un air morne,
Tâtonne en se trompant de trou,

Et joue un ancien vaudeville
Qu'il fausse imperturbablement;
Son chien le conduit par la ville,
Spectre diurne à l'œil dormant.

Как будто пробочник из дыма
Уходит струйкой в высоту,
Души, что в этой мгле томима,
Уносит новости к Христу.

АПОЛЛОНИЯ

Люблю я имя, эхо склона
Античного, богов любя,
Оно сестрою Аполлона
Свободно назвало тебя.

На лире звонко-величавой
Не устает оно звенеть,
Прекраснее любви и славы
И принимает в отзвук медь.

Классическое, погружает
Ундин в глубины их озер,
И в Дельфах пифия лишь знает
Согласовать с ним гордый взор,

Когда на золотой треножник
Садится медленно и ждет
Все царственной, все бестревожней,
Ждет бога, что сейчас придет.

СЛЕПОЙ

Как днем сова, такой же чуткий,
На берегу ручья слепой
Играет медленно на дудке
И ошибается дырой.

Играет водевиль, в котором,
Увы, фальшивит он всегда,
И этот призрак с мертвым взором
Собака водит в города.

Les jours sur lui passent sans luire ;
Sombre, il entend le monde obscur
Et la vie invisible bruire
Comme un torrent derrière un mur.

Dieu sait quelles chimères noires
Hantent cet opaque cerveau !
Et quels illisibles grimoires
L'idée écrit en ce caveau !

Ainsi dans les puits de Venise,
Un prisonnier à demi fou,
Pendant sa nuit qui s'éternise,
Grave des mots avec un clou.

Mais peut-être aux heures funèbres,
Quand la mort souffle le flambeau,
L'âme habituée aux ténèbres
Y verra clair dans le tombeau !

LIED

Au mois d'avril, la terre est rose
Comme la jeunesse et l'amour ;
Pucelle encore, à peine elle ose
Payer le Printemps de retour.

Au mois de juin, déjà plus pâle
Et le cœur de désir troublé,
Avec l'Été tout brun de hâle
Elle se cache dans le blé.

Au mois d'août, bacchante enivrée,
Elle offre à l'Automne son sein,
Et, roulant sur la peau tigrée,
Fait jaillir le sang du raisin.

Проходят дни его без блеска,
И темный мир его жесток,
Ему незримой жизни плески
Как позади стены поток!

О, что за черные кошмары
В мозг забираются ночной!
Что за ночные гримуары
Написаны в пещере той!

В Венеции, на дне колодца
Так узник сумасшедший ждет,
Гвоздем рисуя, как придется...
А день вовеки не придет.

Но в час, когда при плаче громком
Легко задует факел смерть,
Душа, привыкшая к потемкам,
Увидит озаренной твердь.

ПЕСНЯ

Земля в апреле розовее,
Чем молодость и чем любовь,
Ребенок, любит чище феи
Весну, явившуюся вновь.

В июне с сердцем неумным
От беспокойно-жадных грез
За Летом, от загара темным,
Она скрывается в овес.

А в августе — пьяней вакханки;
На шкуре тигровой дрожат
Для Осени ее приманки,
И алый брызжет виноград.

En décembre, petite vieille,
Par les frimas poudrée à blanc,
Dans ses rêves elle réveille
L'Hiver auprès d'elle ronflant.

FANTAISIES D'HIVER

I

Le nez rouge, la face blême,
Sur un pupitre de glaçons,
L'hiver exécute son thème
Dans le quatuor des saisons.

Il chante d'une voix peu sûre
Des airs vieillots et chevrotants;
Son pied glacé bat la mesure
Et la semelle en même temps;

Et comme Hændel, dont la perruque
Perdait sa farine en tremblant,
Il fait envoler de sa nuque
La neige qui la poudre à blanc.

II

Dans le bassin des Tuileries,
Le cygne s'est pris en nageant,
Et les arbres, comme aux féeries,
Sont en filigrane d'argent.

Les vases ont des fleurs de givre,
Sous la charmille aux blancs réseaux;
Et sur la neige on voit se suivre
Les pas étoilés des oiseaux.

А в декабре больной старушке,
Чьи кудри инея белей,
Лишь Зиму, на ее подушке
Храпящую, тревожить ей.

ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ

I

Нос ярко-красный, череп голый,
Пюпитр обмерз со всех сторон,
Зима свое выводит соло
В квартете четырех времен.

Поет фальшиво, нудно, серо
Мотивы, скучные давно,
Ногою отбивая меру,
Да и подошву заодно.

И как, волнуясь, Гендель пылкий
Стрясал всю пудру с парика,
Роняет с дряхлого затылка
Снег, что белит ее бока.

II

Вот лебедь, плавая, закован
Среди бассейна Тюльери,
А сад, как будто заколдован,
Весь в серебре и маркетри.

На вазах белой сеткой иней
Цветы рассыпал из теплиц,
И на оснеженной куртине
Звездится след прошедших птиц.

Au piédestal où, court-vêtue,
Vénus coudoyait Phocion,
L'Hiver a posé pour statue
La frileuse de Clodion.

III

Les femmes passent sous les arbres
En martre, hermine et menu-vair,
Et les déesses, frileux marbres,
Ont pris aussi l'habit d'hiver.

La Vénus Anadyomène
Est en pelisse à capuchon ;
Flore, que la brise malmène,
Plonge ses mains dans son manchon.

Et pour la saison, les bergères
De Coysevox et de Coustou,
Trouvant leurs écharpes légères,
Ont des boas autour du cou.

IV

Sur la mode parisienne
Le Nord pose ses manteaux lourds,
Comme sur une Athénienne
Un Scythe étendrait sa peau d'ours.

Partout se mélange aux parures
Dont Palmyre habille l'Hiver,
Le faste russe des fourrures
Que parfume le vétyver.

Et le Plaisir rit dans l'alcôve
Quand, au milieu des Amours nus,
Des poils roux d'une bête fauve
Sort le torse blanc de Vénus.

На пьедестале, где, ликуя,
Ласкал Венеру Фокион,
Зима поставила статую,
Что зябкой сделал Клодион.

III

Подходят женщины к куртине,
Все в горностаях, в соболях,
И тоже зябкие богини
В своих закутаны мехах.

Венера Анадиомена
Под шубой — капюшон вокруг,
И Флоре ветра перемена
Вдруг муфту сделала для рук.

И для холодного сезона
Пастушки нежные едва
Вкруг шеи белой и точеной
Себе устроили боа.

IV

Парижской моде, вечно свежей,
Рад Север, плащ ей предложив,
Так и Афинянку медвежьей
Окутывает шкурой скиф.

Везде живую смесь убранства
Пальмире принесла Зима
И русское мехами чванство,
Что сводят запахом с ума.

И страсть дрожит, себе не веря,
Когда сквозь розовый туман
Из рыжеватой шкуры зверя
Венерин возникает стан.

Sous le voile qui vous protège,
 Défiant les regards jaloux,
 Si vous sortez par cette neige,
 Redoutez vos pieds andalous ;

La neige saisit comme un moule
 L'empreinte de ce pied mignon
 Qui, sur le tapis blanc qu'il foule,
 Signe, à chaque pas, votre nom.

Ainsi guidé, l'époux morose
 Peut parvenir au nid caché
 Où, de froid la joue encor rose,
 A l'Amour s'enlace Psyché.

LA SOURCE

Tout près du lac filtre une source,
 Entre deux pierres, dans un coin ;
 Allégrement l'eau prend sa course
 Comme pour s'en aller bien loin.

Elle murmure: Oh! quelle joie!
 Sous la terre il faisait si noir!
 Maintenant ma rive verdoie,
 Le ciel se mire à mon miroir.

Les myosotis aux fleurs bleues
 Me disent: Ne m'oubliez pas!
 Les libellules de leurs queues
 M'égratignent dans leurs ébats ;

A ma coupe l'oiseau s'abreuve ;
 Qui sait? — Après quelques détours
 Peut-être deviendrai-je un fleuve
 Baignant vallons, rochers et tours.

На вас вуаль, — Никто не может
Вас выследить в жилище нег;
Но бойтесь ваших детских ножек,
Коль есть на тротуаре снег.

Тогда вам скрыться невозможно,
След ножки выдаст вас сейчас,
Он каждый шаг неосторожно
Расписывается за вас.

И, разгадав его намеки,
Придет супруг ваш, прям и хмур,
Туда, где розовые щеки
Вам поцелуем жжет Амур.

КЛЮЧ

Близ озера источник плещет,
Меж двух камней ему легко;
Вода смеющаяся блещет,
Как бы собравшись далеко.

Она лепечет: Я довольна,
Так жутко было под землей,
Теперь мой берег — луг привольный,
Играет солнце надо мной.

Мне незабудки голубые
Стыдливо шепчут: не забудь!
Стрекозы крылья золотые
Меня царапают чуть-чуть.

Из кубка моего пьет птица...
Кто знает? — может быть, потом
И я могу рекой разлиться,
Что моет холм, утес и дом.

Je broderai de mon écume
Ponts de pierre, quais de granit,
Emportant le steamer qui fume
A l'Océan où tout finit.

Ainsi la jeune source jase,
Formant cent projets d'avenir ;
Comme l'eau qui bout dans un vase,
Son flot ne peut se contenir,

Mais le berceau touche à la tombe ;
Le géant futur meurt petit ;
Née à peine, la source tombe
Dans le grand lac qui l'engloutit !

BÛCHERS ET TOMBEAUX

Le squelette était invisible
Au temps heureux de l'Art païen ;
L'homme, sous la forme sensible,
Content du beau, ne cherchait rien.

Pas de cadavre sous la tombe,
Spectre hideux de l'être cher,
Comme d'un vêtement qui tombe
Se déshabillant de sa chair,

Et, quand la pierre se lézarde,
Parmi les épouvantements,
Montrant à l'œil qui s'y hasarde
Une armature d'ossements ;

Mais au feu du bûcher ravie
Une pincée entre les doigts,
Résidu léger de la vie,
Qu'enserrait l'urne aux flancs étroits ;

О, как оденут пеной воды
Мосты гранитные в туман,
Неся большие пароходы
Во все-берущий океан.

Так созидает сотни планов
На будущее юный ключ,
Как кипяток горячих чанов,
Бежит поток его, кипуч.

Но колыбель близка к могиле,
Гигант наш умирает мал,
Он падает, едва лишь в силе,
В лежащий около провал.

КОСТРЫ И МОГИЛЫ

Когда внимали люди лирам,
Скелет ужасный был незрим,
Был человек доволен миром
И ничего не ждал за ним.

И труп не осквернял гробницу,
Не в силах тленья побороть,
Не сбрасывал, как багряницу,
С себя сгнивающую плоть.

И склеп растреснутый, в котором
Гнездились тысячи червей,
Не открывал смущенным взорам
Собранья брошенных костей.

Но на костре, пылавшем бурно,
Щепотка оставалась лишь,
Ее скрывала нежно урна
В свою таинственную тишь.

Ce que le papillon de l'âme
Laisse de poussière après lui,
Et ce qui reste de la flamme
Sur le trépied, quand elle a lui!

Entre les fleurs et les acanthes,
Dans le marbre joyeusement,
Amours, ægipans et bacchantes
Dansaient autour du monument ;

Tout au plus un petit génie
Du pied éteignait un flambeau ;
Et l'art versait son harmonie
Sur la tristesse du tombeau.

Les tombes étaient attrayantes ;
Comme on fait d'un enfant qui dort,
D'images douces et riantes
La vie enveloppait la mort ;

La mort dissimulait sa face
Aux trous profonds, au nez camard,
Dont la hideur railleuse efface
Les chimères du cauchemar.

Le monstre, sous la chair splendide
Cachait son fantôme inconnu,
Et l'œil de la vierge candide
Allait au bel éphèbe nu.

Seulement pour pousser à boire,
Au banquet de Trimalcion,
Une larve, joujou d'ivoire,
Faisait son apparition ;

Des dieux que l'art toujours révère
Trônaient au ciel marmoréen ;
Mais l'Olympe cède au Calvaire,
Jupiter au Nazaréen ;

Вот все, что мотылек сознания,
Как пыль, бросает на земле,
Все, что осталось от пыланья,
Когда треножник в полумгле.

Среди плюща, цветов, акаций
На белом мраморе идет
Амуров, эгипанов, граций,
Танцуя, легкий хоровод.

Да гений маленький, пожалуй,
Что факел ножкой затушил;
Искусство древнее смягчало
Тревожную печаль могил.

И жизнь раскрашивала гробы,
Как люльку, где лежит дитя,
Своими образами, чтобы
Ложились трупы в них, шутя.

Дырявый нос и скулы-дуги,
Маскировала смерть свой лик,
Которого бежит в испуге
И сам кошмар, ее двойник.

Чудовище под тканью тела
Скрывало страшный образ свой,
И взоры девушки несмелой
Так властно влек эфеб нагой.

И только, чтоб склонить к попойке,
На пир, где вождь Трималхион,
Ларв из слоновой кости, бойкий,
Бывал случайно принесен.

Дышали боги благодатью
Средь беломраморных небес;
Но уступил Олимп Распятью
И Назареянину Зевс.

Une voix dit: Pan est mort! — L'ombre
S'étend. — Comme sur un drap noir,
Sur la tristesse immense et sombre
Le blanc squelette se fait voir;

Il signe les pierres funèbres
De son paraphe de fémurs,
Pend son chapelet de vertèbres
Dans les charniers, le long des murs;

Des cercueils lève le couvercle
Avec ses bras aux os pointus;
Dessine ses côtes en cercle
Et rit de son large rictus;

Il pousse à la danse macabre
L'empereur, le pape et le roi,
Et de son cheval qui se cabre
Jette bas le preux plein d'effroi;

Il entre chez la courtisane
Et fait des mines au miroir,
Du malade il boit la tisane,
De l'avare ouvre le tiroir;

Piquant l'attelage qui rue
Avec un os pour aiguillon,
Du laboureur à la charrue
Termine en fosse le sillon;

Et, parmi la foule priée,
Hôte inattendu, sous le banc,
Vole à la pâle mariée
Sa jarretière de ruban.

A chaque pas grossit la bande;
Le jeune au vieux donne la main;

Был голос: — Умер Пан! — И тени
Простерлись. — Словно на стене,
Над тягостью земных томлений
Встал белый призрак в тишине.

Он чертит погребальный камень
Огромным росчерком руки,
Вдоль стен кладбищенских, как пламень,
Развешивает позвонки.

Он поднимает крышку гроба
Своей костлявою рукой,
Круглятся ребра, дышит злоба
Из рта, из ямины пустой.

Со смехом в адский пляс толкает
Сеньоров, пап и королей
И, полных ужаса, бросает
Бойцов с испуганных коней.

Он в доме куртизанки бледной
Гримасничает у зеркал,
Он пьет больных напитков бедный,
Он у скупого ключ украл.

Коля зазубренною костью
Ревущих, медленных быков,
За плугом он идет со злостью
И превращает ниву в ров.

Средь приглашенных, неудачный
Пришелец, он твердит свое
И тянет с бледной новобрачной
Подвязку красную ее.

И каждый миг все больше банда;
За старцем следом молодой;

L'irrésistible sarabande
Met en branle le genre humain.

Le spectre en tête se déhanche,
Dansant et jouant du rebec,
Et sur fond noir, en couleur blanche,
Holbein l'esquisse d'un trait sec.

Quand le siècle devient frivole
Il suit la mode; en tonnelet
Retrousse son linceul et vole
Comme un Cupidon de ballet.

Au tombeau-sofa des marquises
Qui reposent, lasses d'amour,
En des attitudes exquises,
Dans les chapelles Pompadour.

Mais voile-toi, masque sans joues,
Comédien que le ver mord,
Depuis assez longtemps tu joues
Le mélodrame de la Mort.

Reviens, reviens, bel art antique,
De ton paros étincelant
Couvrir ce squelette gothique;
Dévore-le, bûcher brûlant!

Si nous sommes une statue
Sculptée à l'image de Dieu,
Quand cette image est abattue,
Jetons-en les débris au feu.

Toi, forme immortelle, remonte
Dans la flamme aux sources du beau
Sans que ton argile ait la honte
Et les misères du tombeau!

Стремительная сарабанда
Бросает в пляску род людской.

Фантом идет походкой тряской,
Танцует и в гудок трубит,
На черном фоне белой краской
Гольбейн его изобразит.

Когда смеется жизнь живая,
И он по моде: в кринолин
Расправит саван, улета, —
Совсем балетный арлекин,

Туда, где, от любимой грезы
Устав, маркизы и Амур,
Приняв изысканные позы,
Лежат в капеллах Помпадур.

Но скрой очей пустую яму
Ты, клоун, изгрызенный червем,
Ужасной смерти мелодраму
Ты доиграешь нам потом.

Вернись, античная причуда,
В паросский блещущий убор
Облечь готическое чудо,
Пожри, пожри его костер.

И если вправду мы — статуя
Господня, то ее не тронь,
Когда ж обрушилась, ликуя,
Остатки выброси в огонь.

Пусть форма вечная взлетает
В тот рай, что ей Господь открыл,
Но пусть и глина не узнает
Стыда и ужаса могил.

LE SOUPER DES ARMURES

Biorn, étrange cénobite,
Sur le plateau d'un roc pelé,
Hors du temps et du monde, habite
La tour d'un burg démantelé.

De sa porte l'esprit moderne
En vain soulève le marteau.
Biorn verrouille sa poterne
Et barricade son château.

Quand tous ont les yeux vers l'aurore,
Biorn, sur son donjon perché,
A l'horizon contemple encore
La place du soleil couché.

Ame rétrospective, il loge
Dans son burg et dans le passé ;
Le pendule de son horloge
Depuis des siècles est cassé.

Sous ses ogives féodales
Il erre, éveillant les échos,
Et ses pas, sonnant sur les dalles,
Semblent suivis de pas égaux.

Il ne voit ni laïcs, ni prêtres,
Ni gentilshommes, ni bourgeois,
Mais les portraits de ses ancêtres
Causent avec lui quelquefois.

Et certains soirs, pour se distraire,
Trouvant manger seul ennuyeux,
Biorn, caprice funéraire,
Invite à souper ses aïeux.

УЖИН ДОСПЕХОВ

Биорн загадочно и сиро
В горах, где нету никого,
Живет вне времени и мира
На башне замка своего.

Дух века у высокой двери
Подъемлет даром молоток,
Биорн молчит, ему не веря,
Защелкивает свой замок.

Когда для всех заря — невеста,
Биорн с пустынного двора
Еще высматривает место,
Где солнце спряталось вчера.

Ретроспективный дух, он связан
С прошедшим в дедовских стенах;
Давно минувший миг показан
На сломанных его часах.

Под феодальными гербами
Он бродит, эхо будит мрак,
Как будто за его шагами
Другой, такой же слышен шаг.

Он никогда не видел света,
Дворян, священников иль дам,
Лишь предки из глубин портрета
С ним говорят по временам.

И иногда для развлечения,
Наскучив есть всегда один,
Биорн зовет изображенья
К себе на ужин из картин.

Les fantômes, quand minuit sonne,
Viennent armés de pied en cap;
Biorn, qui malgré lui frissonne,
Salue en haussant son hanap.

Pour s'asseoir, chaque panoplie
Fait un angle avec son genou,
Dont l'articulation plie
En grinçant comme un vieux verrou.

Et tout d'une pièce, l'armure,
D'un corps absent gauche cercueil,
Rendant un creux et sourd murmure,
Tombe entre les bras du fauteuil.

Landgraves, rhingraves, burgraves,
Venus du ciel ou de l'enfer,
Ils sont tous là, muets et graves.
Les roides convives de fer!

Dans l'ombre, un rayon fauve indique
Un monstre, guivre, aigle à deux cous,
Pris au bestiaire héraldique
Sur les cimiers faussés de coups.

Du mufle des bêtes difformes
Dressant leurs ongles arrogants,
Partent des panaches énormes,
Des lambrequins extravagants;

Mais les casques ouverts sont vides
Comme les timbres du blason;
Seulement deux flammes livides
Y luisent d'étrange façon.

Toute la ferraille est assise
Dans la salle du vieux manoir,
Et, sur le mur, l'ombre indécise
Donne à chaque hôte un page noir.

В броню закованные тени
Идут, чуть полночь прозвенит,
Биорн, хоть и дрожат колени,
Учтивый сохраняет вид.

Садится каждая фигура,
Углом сгибая связки ног,
Где щелкает мускулатура,
Совсем заржавевший замок.

И сразу все вооруженье,
Откуда воин ускользнул,
Издав тяжелое гуденье,
Обрушивается на стул.

Ландграфы, герцоги, бургравы.
Покинувшие рай иль ад,
Собрались, немые, величавы,
Железных приглашенных ряд.

Порой осветит луч в тумане
Глаза чудовищных эмблем,
Из геральдических преданий
Переселяемых на шлем.

Зверей необычайных морды
И когти, страшны, как копье,
Свисают на плечи то гордо,
То как затейное тряпье.

Но пусто в шлемах величавых,
Как пусто на гербах былых,
И лишь два пламени кровавых
Зловеще светятся из них.

Едва хватило всем сидений,
Огромных блюд и круглых чаш;
И на стене от беглой тени
За каждым гостем черный паж.

Les liqueurs aux feux des bougies
Ont des pourpres d'un ton suspect;
Les mets dans leurs sauces rougies
Prennent un singulier aspect.

Parfois un corselet miroite,
Un morion brille un moment ;
Une pièce qui se déboîte
Choit sur la nappe lourdement.

L'on entend les battements d'ailes
D'invisibles chauves-souris,
Et les drapeaux des infidèles
Palpitent le long du lambris.

Avec des mouvements fantasques
Courbant leurs phalanges d'airain,
Les gantelets versent aux casques
Des rasades de vin du Rhin,

Où découpent au fil des dagues
Des sangliers sur des plats d'or...
Cependant passent des bruits vagues
Par les orgues du corridor.

La débauche devient farouche,
On n'entendrait pas tonner Dieu ;
Car, lorsqu'un fantôme découche,
C'est le moins qu'il s'amuse un peu.

Et la fantastique assemblée
Se tracassant dans son harnois,
L'orgie a sa rumeur doublée
Du tintamarre des tournois.

Gobelets, hanaps, vidrecomes,
Vidés toujours, remplis en vain,
Entre les mâchoires des heaumes
Forment des cascades de vin.

Озарена струя ликеров
И подозрительно красна,
И странны кушанья, в которых
Подливка красная страшна.

Железо светится порою,
На краткий миг блеснет шишак,
Вдруг развалившейся броней
Тяжелой потрясаем мрак.

Невидимой летучей мыши
Возня и пискотня слышна,
И на стене, под самой крышей,
Висят неверных знамена.

Вот пальцы медные сверкают
И сразу гнутся, как один,
Перчатки в шлемы выливают
Потоки старых рейнских вин;

Или на золоченом блюде
В кабана всаживают нож...
Меж тем по залам, в тьме безлюдий,
Неясная проходит дрожь.

Разгул готов волной разлиться,
Не прогремит же небосклон,
Фантом решает веселиться,
Уж если гроб покинул он.

И в фантастическом восторге
Все звякают своей броней,
Как будто то не грохот оргий,
А грохот стычки боевой.

И, наполняясь бесполезно,
Бокал, и чаша, и кувшин
Выплескивают в рот железный,
Как водопады, струи вин.

Les hauberts en bombent leurs ventres,
Et le flot monte aux gorgerins;
— Ils sont tous gris comme des chantres,
Les vaillants comtes suzerains!

L'un allonge dans la salade
Nonchalamment ses pédieux,
L'autre à son compagnon malade
Fait un sermon fastidieux.

Et des armures peu bégueules
Rappellent, dardant leur boisson,
Les lions lampassés de gueules
Blasonnés sur leur écusson.

D'une voix encore enrouée
Par l'humidité du caveau,
Max fredonne, ivresse enjouée,
Un lied, en treize cents, nouveau.

Albrecht, ayant le vin féroce,
Se querelle avec ses voisins,
Qu'il martèle, bossue et rosse,
Comme il faisait des Sarrasins.

Échauffé, Fritz ôte son casque,
Jadis par un crâne habité,
Ne pensant pas que sans son masque
Il semble un tronc décapité.

Bientôt ils roulent pêle-mêle
Sous la table, parmi les brocs,
Tête en bas, montrant la semelle
De leurs souliers courbés en crocs.

C'est un hideux champ de bataille
Où les pots heurtent les armets,
Où chaque mort par quelque entaille
Au lieu de sang vomit des mets.

И проволочные кафтаны
Раздула винная струя;
— Ах, все они мертвецки пьяны,
Великолепные князья.

Один измазал всю кольчугу,
По ней струится липкий мед,
Другой страдающему другу
Обеты громкие дает.

И брони, в возлияньях частых
Теряющие стыд и страх,
Напоминают львов клыкастых
На их написанных гербах.

Охрипший в склепе над болотом,
Макс тянет песенки слова,
Что, верно, в тысячу трехсотом
Году была еще нова.

Альбрехт, пьянея безотрадно,
Суров к соседям и один
Их бьет, колотит беспощадно,
Как колотил он сарацин.

Разгоряченный Фриц снимает
Свой в перьях страусовых шлем
И, ах, о том, что открывает
Лишь пустоту, забыл совсем.

Кричат и скоро вперемешку
Лежат меж кресел и столов,
Вниз головой, как бы в насмешку
Подняв подошвы башмаков.

Уродливое поле боя
С непобедимым бурдюком,
Где губы каждого героя
Полны не кровью, а вином.

Et Biorn, le poing sur la cuisse,
Les contemple, morne et hagard,
Tandis que, par le vitrail suisse,
L'aube jette son bleu regard.

La troupe, qu'un rayon traverse,
Pâlit comme au jour un flambeau,
Et le plus ivrogne se verse
Le coup d'étrier du tombeau.

Le coq chante, les spectres fuient
Et, reprenant un air hautain,
Sur l'oreiller de marbre appuient
Leurs têtes lourdes du festin!

LA MONTRE

Deux fois je regarde ma montre,
Et deux fois à mes yeux distraits
L'aiguille au même endroit se montre:
Il est une heure... une heure après.

La figure de la pendule
En rit dans le salon voisin,
Et le timbre d'argent module
Deux coups vibrant comme un tocsin.

Le cadran solaire me raille
En m'indiquant, de son long doigt,
Le chemin que sur la muraille
A fait son ombre qui s'accroît.

Le clocher avec ironie
Dit le vrai chiffre, et le beffroi,
Reprenant la note finie,
A l'air de se moquer de moi.

Биорн их молча созерцает,
Рукой оперся о бедро,
Тогда как в окна проникает
Зари лазурь и серебро.

И все становится бледнее,
Как днем свечи ненужный пыл,
И самый пьяный пьет скорее
Стакан забвения могил.

Поет петух, бегут фантомы,
И всяк, приняв надменный вид,
На камень преклонить знакомый
Больную голову спешит.

ЧАСЫ

Два раза открывал часы я
И оба раза замечал,
Что там же стрелки золотые,
А час, однако, пробежал.

Часы, висящие в гостиной,
Смеясь надо мной, шипят,
Их голос серебристо-длинный
Звучал два раза, как набат.

И солнечный кадран, немного
Дразня, отметил мне перстом
Уже заметную дорогу,
Что совершила тень на нем.

Часы на дальней колокольне
Сказали время; каланча
Глумится надо мной привольней,
Последний отзвук их шепча.

Tiens! la petite bête est morte.
Je n'ai pas mis hier encor,
Tant ma rêverie était forte,
Au trou de rubis la clef d'or!

Et je ne vois plus, dans sa boîte,
Le fin ressort du balancier
Aller, venir, à gauche, à droite,
Ainsi qu'un papillon d'acier.

C'est bien de moi! Quand je chevauche
L'Hippogriffe, au pays du Bleu,
Mon corps sans âme se débauche,
Et s'en va comme il plaît à Dieu!

L'éternité poursuit son cercle
Autour de ce cadran muet,
Et le temps, l'oreille au couvercle,
Cherche ce cœur qui remuait;

Ce cœur que l'enfant croit en vie,
Et dont chaque pulsation
Dans notre poitrine est suivie
D'une égale vibration,

Il ne bat plus, mais son grand frère
Toujours palpite à mon côté.
— Celui que rien ne peut distraire,
Quand je dormais, l'a remonté!

LES NÉRÉIDES

J'ai dans ma chambre une aquarelle
Bizarre, et d'un peintre avec qui
Mètre et rime sont en querelle,
— Théophile Kniatowski.

Ах, значит, умер мой зверечек,
А я мечтами занят был,
В его рубиновый замочек
Вчера ключа я не вложил.

И я не вижу, наблюдая,
Пружину, быструю всегда,
Как будто бабочка стальная,
Снующую туда, сюда.

Да, я таков! Когда я смело
Мечтою уношусь во мрак,
То без души неловко тело,
Оно живет Бог знает как!

А вечность крут свой совершает
Над этой стрелкой неживой,
И время ухо наклоняет
Послушать сердца стук глухой.

То сердце, о котором верит
Ребенок, что оно живет, —
В груди полет его измерит
Иного сердца легкий лёт.

Оно мертво и живо будет,
А брат его весь путь прошел. —
Ведь Тот, который не забудет,
Когда я спал, его завел.

НЕРЕИДЫ

Художник странный, Книатовский
Мне акварель нарисовал —
О, я к фамилии чертовской
Насилу рифму подобрал.

Sur l'écume blanche qui frange
Le manteau glauque de la mer
Se groupent en bouquet étrange
Trois nymphes, fleurs du gouffre amer.

Comme des lys noyés, la houle
Fait dans sa volute d'argent
Danser leurs beaux corps qu'elle roule,
Les élevant, les submergeant.

Sur leurs têtes blondes, coiffées
De pétoncles et de roseaux,
Elles mêlent, coquettes fées,
L'écrin et la flore des eaux.

Vidant sa nacre, l'huître à perle
Constelle de son blanc trésor
Leur gorge, où le flot qui déferle
Suspend d'autres perles encor.

Et, jusqu'aux hanches soulevées
Par le bras des Tritons nerveux,
Elles luisent, d'azur lavées,
Sous l'or vert de leurs longs cheveux.

Plus bas, leur blancheur sous l'eau bleue
Se glace d'un visqueux frisson,
Et le torse finit en queue,
Moitié femme, moitié poisson.

Mais qui regarde la nageoire
Et les reins aux squameux replis,
En voyant les bustes d'ivoire
Par le baiser des mers polis?

A l'horizon, — piquant mélange
De fable et de réalité, —
Paraît un vaisseau qui dérange
Le chœur marin épouvanté.

Средь белых пен, что переливно
С лазурной мантией слиты,
В букет соединились дивно
Три нимфы, горьких бездн цветы.

Они — три лилии. От зыби
Волнуется поверхность вся,
В своем причудливом изгибе
Их погружая и внося.

И в косы, там, где виден редкий
Петуший коготь, ветвь маслин,
Они запрятали, кокетки,
Кораллы и траву глубин.

И устрица для белой шеи
Дала им жемчуга свои,
Но там блестят еще светлее
Воды стекающей струи.

Вплоть до бедра, что взял рукою
Тритон во власти жадных грез,
Горят, омыты синевою,
В зеленом золоте волос.

А дальше видеть вы могли бы
Как будто трепетный излом,
Хвост полудевы, полурыбы
Оканчивается хвостом.

Но кто заметит, полный злости,
Чешуйчатые плавники,
Смотря на грудь слоновой кости,
На мрамор девичьей руки?

На горизонте, как смешное
Слиянье истины и сна,
Несется судно, беспокоя
Певиц, поднявшихся со дна.

Son pavillon est tricolore ;
Son tuyau vomit la vapeur ;
Ses aubes fouettent l'eau sonore,
Et les nymphes plongent de peur.

Sans crainte elles suivaient par troupes
Les trirèmes de l'Archipel,
Et les dauphins, arquant leurs croupes,
D'Arion attendaient l'appel.

Mais le steam-boat avec ses roues,
Comme Vulcain battant Vénus,
Souffletterait leurs belles joues
Et meurtrirait leurs membres nus.

Adieu, fraîche mythologie !
Le paquebot passe et, de loin,
Croit voir sur la vague élargie
Une culbute de marsouin.

LES ACCROCHE-CŒURS

Ravivant les langueurs nacrées
De tes yeux battus et vainqueurs
En mèches de parfum lustrées
Se courbent deux accroche-cœurs.

A voir s'arrondir sur tes joues
Leurs orbes tournés par tes doigts,
On dirait les petites roues
Du char de Mab fait d'une noix ;

Ou l'arc de l'Amour dont les pointes,
Pour une flèche à décocher,
En cercle d'or se sont rejointes
A la tempe du jeune archer.

Трехцветные играют флаги,
Выплевывает дым труба,
Колеса бьют по звонкой влаге,
И нимфам прятаться судьба.

Они без страха проплывали
В Архипелаге, вслед трирем,
Дельфины спины подставляли
Для Арионовых поэм.

Но, как Вулкан, Венеру бьющий,
Винтом тяжелым пароход
Растреплет косу у плывущей
И члены нежные сомнет.

Прости, о свежесть мифологий!
Корабль прошел и средь струи
Заметил на своей дороге
Кувыркание морской свиньи.

ПОДВЕСКИ ДЛЯ СЕРДЕЦ

Соперничая с мглой во взгляде
И побеждая наконец,
Спустились две душистых пряди,
Как два подвеска для сердец.

Заметь в них переливы света,
Их кольца, где изгиб так слаб,
И скажешь, что колеса это
От колесницы феи Маб.

Или Амура лук, крылатой
Стрелой натянутый слегка,
И круглые концы прижаты
К вискам веселого стрелка.

Pourtant un scrupule me trouble,
Je n'ai qu'un cœur, alors pourquoi,
Coquette, un accroche-cœur double?
Qui donc y pends-tu près de moi?

LA ROSE-THÉ

La plus délicate des roses
Est, à coup sûr, la rose-thé.
Son bouton aux feuilles mi-closes
De carmin à peine est teinté.

On dirait une rose blanche
Qu'aurait fait rougir de pudeur,
En la lutinant sur la branche,
Un papillon trop plein d'ardeur.

Son tissu rose et diaphane
De la chair a le velouté;
Auprès, tout incarnat se fane
Ou prend de la vulgarité.

Comme un teint aristocratique
Noircit les fronts bruns de soleil,
De ses sœurs elle rend rustique
Les coloris chaud et vermeil.

Mais, si votre main qui s'en joue,
A quelque bal, pour son parfum,
La rapproche de votre joue,
Son frais éclat devient commun.

Il n'est pas de rose assez tendre
Sur la palette du printemps,
Madame, pour oser prétendre
Lutter contre vos dix-sept ans.

Но я томлюсь в бреду угарном,
Ведь сердце у меня одно,
Кокетка, на подвеске парном
Чьему ж качаться суждено?

ЧАЙНАЯ РОЗА

Средь связки роз, весной омытой,
Прекрасней чайной розы нет.
Ее бутон полураскрытый
Слегка окрашен в красный цвет.

То роза белая, так ровно
Краснеющая от стыда,
Внимая повести любовной,
Что соловей поет всегда.

Она желанна нашим взглядам,
В ней отсвет розовый зажжен,
И пурпур вянет с нею рядом,
Иль грубым делается он.

Как цвет лица аристократки
Затмит крестьянских лиц загар,
Так и она затмила сладкий
Алеющих сестер пожар.

Но если Вы ее, играя,
Приблизите рукой к щеке,
Внезапно светлый блеск теряя,
Она опустится в тоске.

В садах, раскрашенных весною,
Такой прекрасной розы нет,
Царица, чтоб идти войною
На Ваши восемнадцать лет.

La peau vaut mieux que le pétale,
Et le sang pur d'un noble cœur
Qui sur la jeunesse s'étale,
De tous les roses est vainqueur!

CARMEN

Carmen est maigre, — un trait de bistre
Cerne son œil de gitana.
Ses cheveux sont d'un noir sinistre,
Sa peau, le diable la tanna.

Les femmes disent qu'elle est laide,
Mais tous les hommes en sont fous,
Et l'archevêque de Tolède
Chante la messe à ses genoux;

Car sur sa nuque d'ambre fauve
Se tord un énorme chignon
Qui, dénoué, fait dans l'alcôve
Une mante à son corps mignon.

Et, parmi sa pâleur, éclate
Une bouche aux rires vainqueurs;
Piment rouge, fleur écarlate,
Qui prend sa pourpre au sang des cœurs.

Ainsi faite, la moricaude
Bat les plus altières beautés,
Et de ses yeux la lueur chaude
Rend la flamme aux satiétés.

Elle a, dans sa laideur piquante,
Un grain de sel de cette mer
D'où jaillit, nue et provocante,
L'âcre Vénus du gouffre amer.

Ах, кожа побеждает вечно,
И крови чистая волна
Из сердца юного, конечно,
Над всякой розой внесена.

КАРМЕН

Кармен худа — коричневатый
Глаза ей сумрак окружил,
Зловещи кос ее агаты,
И дьявол кожу ей дубил.

Урод — звучит о ней беседа,
Но все мужчины взяты в плен.
Архиепископ из Толедо
Пел мессу у ее колен.

Над темно-золотым затылком
Шиньон огромен и блестящ,
Распушенный движеньем пылким,
Он прячет тело ей, как в плащ.

Средь бледности сверкает пьяный,
Смеющийся победно рот,
Он красный перец, цвет багряный;
Из сердца пурпур он берет.

Она, смуглянка, побеждает
Надменнейших красавиц рой,
Сиянье глаз ее вселяет
В пресыщенность огонь былой.

В ее уродстве скрыта злая
Крупица соли тех морей,
Где вызывающе нагая
Венера вышла из зыбей.

CE QUE DISENT LES HIRONDELLES

CHANSON D'AUTOMNE

Déjà plus d'une feuille sèche
Parsème les gazons jaunis;
Soir et matin, la brise est fraîche,
Hélas! les beaux jours sont finis!

On voit s'ouvrir les fleurs que garde
Le jardin, pour dernier trésor:
Le dahlia met sa cocarde
Et le souci sa toque d'or.

La pluie au bassin fait des bulles;
Les hirondelles sur le toit
Tiennent des conciliabules:
Voici l'hiver, voici le froid!

Elles s'assemblent par centaines,
Se concertant pour le départ.
L'une dit: «Oh! que dans Athènes
Il fait bon sur le vieux rempart!

«Tous les ans j'y vais et je niche
Aux métopes du Parthénon.
Mon nid bouche dans la corniche
Le trou d'un boulet de canon.»

L'autre: «J'ai ma petite chambre
A Smyrne, au plafond d'un café.
Les Hadjis comptent leurs grains d'ambre
Sur le seuil, d'un rayon chauffé.

«J'entre et je sors, accoutumée
Aux blondes vapeurs des chibouchs,
Et parmi des flots de fumée,
Je rase turbans et tarbouchs.»

ЧТО ГОВОРЯТ ЛАСТОЧКИ

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Над пожелтевшими полями
Печально лег ковер листвы;
Свежеет ветер вечерами,
И лето кончилось, увы!

Вот чашечки пораскрывали
Цветы — последний дар садов:
Уже видны кокарды далий,
Шлем золотистый ноготков.

От струй дождя земля в сиянье;
И ласточек веселых тьма
Собирается для совещанья:
Ведь холодно, идет зима.

Они уселись на вершинах
Дерев, готовые в отлет.
Одна щебечет: "Как в Афинах
Высок и ясен небосвод.

Я каждый год туда летаю
И в Парфеноне строю дом —
В стене он поместился, с краю
Дыры, проделанной ядром".

Другая: "Я летаю в Смирну,
Живу под потолком кафе.
Хаджи играют в шашки мирно,
С ногами сидя на софе.

А я царю неуловимо,
Где поднял белый пар кальян,
И, пролетая в клубах дыма,
Я задеваю за тюрбан".

Celle-ci: «J'habite un triglyphe
Au fronton d'un temple, à Balbeck.
Je m'y suspens avec ma griffe
Sur mes petits au large bec.»

Celle-là: «Voici mon adresse:
Rhodes, palais des chevaliers;
Chaque hiver, ma tente s'y dresse
Au chapiteau des noirs piliers.»

La cinquième: «Je ferai halte,
Car l'âge m'alourdit un peu,
Aux blanches terrasses de Malte,
Entre l'eau bleue et le ciel bleu.»

La sixième: «Qu'on est à l'aise
Au Caire, en haut des minarets!
J'empâte un ornement de glaise.
Et mes quartiers d'hiver sont prêts.»

«A la seconde cataracte,
Fait la dernière, j'ai mon nid;
J'en ai noté la place exacte,
Dans le pschent d'un roi de granit.»

Toutes: «Demain combien de lieues
Auront filé sous notre essaim,
Plaines brunes, pics blancs, mers bleues
Brodant d'écume leur bassin!»

Avec cris et battements d'ailes,
Sur la moulure aux bords étroits,
Ainsi jasant les hirondelles,
Voyant venir la rouille aux bois.

Je comprends tout ce qu'elles disent,
Car le poète est un oiseau ;
Mais, captif, ses élans se brisent
Contre un invisible réseau!

И эта: "Я живу во храме
Бальбека, на большой реке,
Над желторотыми птенцами
Порой вишу на коготке".

И та: "В Родос я улетаю,
Там замок рыцарский взнесен;
Я каждый год гнездо свиваю
Под капителями колонн".

И пятая: "В седом базальте
Лучами залитых террас
Задерживаюсь я на Мальте,
Стара, мне далеко до вас".

Шестая: "Ах, Каир единый
Из всех восточных городов!..
Орнамент вымажу я глиной,
И зимний домик мой готов".

"Нет, за вторым порогом Нила, —
Кричит последняя, горя, —
Мое гнездо я сохранила
В венце гранитного царя".

И все: "О, сколько будет вскоре
Великолепных перемен,
Равнины, пики гор и море,
Что моет берег снегом пен!"

Так, крыльев хлопаньем и криком,
Усевшись стаяй на кустах,
Все ласточки в восторге диком
Встречают ржавчину в лесах.

Их крики сердце понимает,
Поэт ведь так похож на птиц,
Хоть грудь он даром разбивает
О сталь невидимых темниц.

Des ailes! des ailes! des ailes!
Comme dans le chant de Ruckert,
Pour voler, là-bas avec elles
Au soleil d'or, au printemps vert!

NOËL

Le ciel est noir, la terre est blanche;
— Cloches, carillonnez gaîment! —
Jésus est né. — La Vierge penche
Sur lui son visage charmant.

Pas de courtines festonnées
Pour préserver l'enfant du froid,
Rien que les toiles d'araignées
Qui pendent des poutres du toit.

Il tremble sur la paille fraîche,
Ce cher petit enfant Jésus,
Et pour l'échauffer dans sa crèche
L'âne et le bœuf soufflent dessus.

La neige au chaume coud ses franges,
Mais sur le toit s'ouvre le ciel
Et, tout en blanc, le chœur des anges
Chante aux bergers: «Noël! Noël!»

LES JOUJOUX DE LA MORTE

La petite Marie est morte,
Et son cercueil est si peu long
Qu'il tient sous le bras qui l'emporte
Comme un étui de violon.

Sur le tapis et sur la table
Traîne l'héritage enfantin.
Les bras ballants, l'air lamentable,
Tout affaissé, gît le pantin.

Скорее крылья! крылья! крылья!
Как в песне Рюккерта святой,
Чтобы умчаться без усилия
За зеленеющей весной.

РОЖДЕСТВО

В полях сутробы снеговые,
Но брось же, колокол, свой крик —
Родился Иисус; — Мария
Над ним склоняет милый лик.

Узорный полог не устроен
Дитя от холода хранить,
И только свесилась с устоев
Дрожащей паутины нить.

Дрожит под легким одеяньем
Ребенок крохотный — Христос,
Осел и бык, чтоб греть дыханьем,
К нему склонили теплый нос.

На крыше снеговые горы,
Сквозь них не видно ничего...
И в белом ангельские хоры
Поют крестьянам: "Рождество!"

ИГРУШКИ МЕРТВОЙ

Скончалась маленькая Мэри,
И гроб был узким до того,
Что, как футляр скрипичный, в двери
Под мышкой вынесли его.

Ребенка свалено наследство
На пол, на коврик, на матрац.
Обвиснув, вечный спутник детства,
Лежит облупленный паяц.

Et si la poupée est plus ferme,
C'est la faute de son bâton ;
Dans son œil une larme germe,
Un soupir gonfle son carton.

Une dinette abandonnée
Mêle ses plats de bois verni
A la troupe désarçonnée
Des écuyers de Franconi.

La boîte à musique est muette ;
Mais, quand on pousse le ressort
Où se posait sa main fluette,
Un murmure plaintif en sort.

L'émotion chevrote et tremble
Dans: *Ah! vous dirai-je, maman?*
Le *Quadrille des Lanciers* semble
Triste comme un enterrement.

Et des pleurs vous mouillent la joue
Quand *la Donna è mobile*,
Sur le rouleau qui tourne et joue,
Expire avec un son filé.

Le cœur se navre à ce mélange
Puérilement douloureux,
Joujoux d'enfant laissés par l'ange,
Berceau que la tombe a fait creux!

APRÈS LE FEUILLETON

Mes colonnes sont alignées,
Au portique du feuilleton ;
Elles supportent, résignées,
Du journal le pesant fronton.

И кукла только из-за палки,
Что в ней запрятана, бодрей;
Как слезы на картоне жалки,
Струясь из бисерных очей.

И возле кухни позабытой,
Где лаковых тарелок ряд,
Имеет вид совсем убитый
Бумажных горсточка солдат.

И музыкальная шкатулка
Молчит, но если заведут
Ее опять, то странно гудко
В ней вздохи грустные растут.

Ах! слышно головокруженье
В мотиве: "Мамочка, не ты ль?"
Печальная, как погребенье,
Звенит "Уланская Кадриль".

Как больно сердце замирает
И слезы катятся, когда
Dopna è mobile вздыхает
И затихает навсегда.

И, погружаясь в сон недужный,
Все спрашиваешь: неужель
Игрушки ангелам не нужны
И гроб обидел колыбель?

ПОСЛЕ ФЕЛЬЕТОНА

Ах! не одной колонной черной
Мой вытянулся фельетон,
И украшает он покорно
Газеты тягостный фронтон.

Jusqu'à lundi je suis mon maître.
Au diable chefs-d'œuvre mort-nés!
Pour huit jours je puis me permettre
De vous fermer la porte au nez.

Les ficelles des mélodrames
N'ont plus le droit de se glisser
Parmi les fils soyeux des trames
Que mon caprice aime à tisser.

Voix de l'âme et de la nature,
J'écouterai vos purs sanglots,
Sans que les couplets de facture
M'étourdissent de leurs grelots.

Et portant, dans mon verre à côtes,
La santé du temps disparu,
Avec mes vieux rêves pour hôtes
Je boirai le vin de mon cru:

Le vin de ma propre pensée,
Vierge de toute autre liqueur,
Et que, par la vie écrasée,
Répand la grappe de mon cœur!

LE CHÂTEAU DU SOUVENIR

La main au front, le pied dans l'âtre,
Je songe et cherche à revenir,
Par-delà le passé grisâtre,
Au vieux château du Souvenir.

Une gaze de brume estompe
Arbres, maisons, plaines, coteaux,
Et l'œil au carrefour qui trompe
En vain consulte les poteaux.

Свобода! я не разбираю
Мертворожденных пьес теперь...
Я на неделю запираю
Мою пред вашим носом дверь.

И нити мелодрамы новой
Не будут путаться опять
Меж нитей шелковой основы,
Которую хочу я ткать.

Вновь голоса души, природы
Звучат, часты и глубоки,
Зато куплеты — дети моды —
Свои припрятали звонки.

И, обрета в моем стакане
Здоровье, цветшее давно,
Я в обществе былых мечтаний
Мое испробую вино:

Вино, где мысль моя сияла
И нет чужого ничего,
Что жизнь, работник, выжимала
Из гроздей сердца моего.

ДВОРЕЦ ВОСПОМИНАНИЙ

Подперши лоб, я на пыланье
В моем камине дров смотрю
И во дворец Воспоминанья
Спешу сквозь сумрак и зарю.

Туманный саван одевает
Ряды равнин, холмов, домов,
И глаз напрасно вопрошает
На перекрестке знак столбов.

J'avance parmi les décombres
De tout un monde enseveli,
Dans le mystère des pénombres,
A travers des limbes d'oubli.

Mais voici, blanche et diaphane,
La Mémoire, au bord du chemin,
Qui me remet, comme Ariane,
Son peloton de fil en main.

Désormais la route est certaine ;
Le soleil voilé reparaît,
Et du château la tour lointaine
Pointe au-dessus de la forêt.

Sous l'arcade où le jour s'émousse,
De feuilles en feuilles tombant,
Le sentier ancien dans la mousse
Trace encor son étroit ruban.

Mais la ronce en travers s'enlace :
La liane tend son filet,
Et la branche que je déplace
Revient et me donne un soufflet.

Enfin au bout de la clairière,
Je découvre du vieux manoir
Les tourelles en poivrière
Et les hauts toits en éteignoir.

Sur le comble aucune fumée
Rayant le ciel d'un bleu sillon ;
Pas une fenêtre allumée
D'une figure ou d'un rayon.

Les chaînes du pont sont brisés ;
Aux fossés la lentille d'eau
De ses taches vert-de-grisées
Étale le glauque rideau.

Я прохожу среди развалин
Страны, исчезнувшей давно, —
Где мрак таинственно-печален,
Царить забвенью суждено.

Но вот, прозрачна и прохладна,
Явилась память вдалеке,
Она ведет, как Ариадна,
С бичевкой легкою в руке.

Теперь-то знаю я дорогу,
Сияет солнце без конца,
И выступают понемногу
За лесом башенки дворца.

И день под аркой затихает,
В глубоких спрятавшись листах,
И узкой лентой залегает
Тропинка прежняя во мхах.

Но как стена — терновник с краю;
Лиана спуталась, дразня;
И ветвь, что я отодвигаю,
Отпущенная, бьет меня.

И наконец среди лужайки
Я вижу старое жилье,
Где стены белы, словно чайки,
И башни тонки, как копье.

Над крышею не видно дыма,
Летящего в обитель туч,
И ни в одном окне не зрима
Фигура чья-нибудь иль луч.

Устои моста развалиться
Готовы от моих шагов,
И водяная чечевица,
Как мантией, одела ров.

Des tortuosités de lierre
Pénètrent dans chaque refend,
Payant la tour hospitalière
Qui les soutient... en l'étouffant.

Le porche à la lune se ronge,
Le temps le sculpte à sa façon,
Et la pluie a passé l'éponge
Sur les couleurs de mon blason.

Tout ému, je pousse la porte
Qui cède et geint sur ses pivots;
Un air froid en sort et m'apporte
Le fade parfum des caveaux.

L'ortie aux morsures aiguës,
La bardane aux larges contours,
Sous les ombelles des ciguës,
Prospèrent dans l'angle des cours.

Sur les deux chimères de marbre,
Gardiennes du perron verdi,
Se découpe l'ombre d'un arbre
Pendant mon absence grandi.

Levant leurs pattes de lionne
Elles se mettent en arrêt.
Leur regard blanc me questionne
Mais je leur dis le mot secret.

Et je passe. — Dressant sa tête,
Le vieux chien retombe assoupi.
Et mon pas sonore inquiète
L'écho dans son coin accroupi.

Un jour louche et douteux se glisse
Aux vitres jaunes du salon
Où figurent, en haute lisse,
Les aventures d'Apollon.

В простенках только плющ коварный,
Под ним не видно ничего,
И душит он, неблагодарный,
Столбы, принявшие его.

Крыльцо чуть видно из-под пыли,
Ему разрушиться судьба,
И губкою дожди водили
По краскам моего герба.

Взволнованный, я дверь толкаю,
Я слышу, как скрипит засов,
И, весь дрожащий, ощущаю
Холодный воздух погребов.

Кусаящаяся крапива,
Репейник с зонтиком листов,
Под тенью омега счастливо
Восходят посреди дворов.

Две грозных мраморных химеры,
Порог разрушенный храня,
Стоят, одеты тенью серой
Дубов, подросших без меня.

И, лапу приподняв сурово,
Они полны глухих угроз,
Но тайное я знаю слово
На молчаливый их вопрос.

И прохожу. — Чуть двинув мордой,
Пес снова дремлет на полу,
И эхо лишь на шаг мой гордый
В своем откликнулось углу.

Сквозь окна желтые салона
Сомнительный проходит день,
И приключенья Аполлона
На гобеленах скрыла тень.

Daphné, les hanches dans l'écorce,
Étend toujours ses doigts touffus;
Mais aux bras du dieu qui la force,
Elle s'éteint, spectre confus.

Apollon, chez Admète, garde
Un troupeau, des mites atteint;
Les neuf Muses, troupe hagarde,
Pleurent sur un Pinde déteint;

Et la Solitude en chemise
Trace au doigt le mot: «Abandon»
Dans la poudre qu'elle tamise
Sur le marbre du guéridon.

Je retrouve au long des tentures,
Comme des hôtes endormis,
Pastels blafards, sombres peintures,
Jeunes beautés et vieux amis.

Ma main tremblante enlève un crêpe,
Et je vois mon défunt amour,
Jupons bouffants, taille de guêpe,
La Cidalise en Pompadour!

Un bouton de rose s'entrouvre
A son corset enrubanné,
Dont la dentelle à demi couvre
Un sein neigeux d'azur veiné;

Ses yeux ont de moites piallettes;
Comme aux feuilles que le froid mord,
Sa pourpre monte à ses pommettes,
Éclat trompeur, fard de la mort!

Elle tressaille à mon approche,
Et son regard, triste et charmant,
Sur le mien, d'un air de reproche,
Se fixe douloureusement.

Я вижу Дафну. Ноги — корни,
И руки — сучья у нее,
Но ласки бога все упорней,
Она бежит сквозь забытие.

Стада, изъеденные молью,
Пасет поблекший Аполлон,
И девять муз с какою болью
На Пинде поднимают стон.

И Одиночество все чаще
Выводит пальцем в полумгле
"Забвенье" на пыли, лежащей
На круглом мраморном столе.

Я различаю еле-еле,
Как будто дремлющих гостей,
Картины темные, постели
Прекрасных дев, бывших друзей.

Дрожу, завесу поднимая,
И вижу мертвую любовь...
То Сидализа молодая,
И кринолин красней, чем кровь.

Корсет распушен, обнаружив
Цветок, сердца берущий в плен,
И чуть сокрыта между кружев
Грудь белая с лазурью вен.

Ее глаза слегка желтеют,
Как листья, тронуты зимой,
И щеки странно розовеют,
Румяна смерти, блеск дурной.

Она молчит с печальным взором,
О, этот милый, милый взор,
Как будто с тягостным укором
Он смотрит на меня в упор.

Bien que la vie au loin m'emporte,
Ton nom dans mon cœur est marqué,
Fleur de pastel, gentille morte,
Ombre en habit de bal masqué!

La nature, de l'art jalouse,
Voulant dépasser Murillo,
A Paris créa l'Andalouse
Qui rit dans le second tableau.

Par un caprice poétique,
Notre climat brumeux para
D'une grâce au charme exotique
Cette autre Petra Camara.

De chaudes teintes orangées
Dorent sa joue au fard vermeil;
Ses paupières de jais frangées
Filtrent des rayons de soleil.

Entre ses lèvres d'écarlate
Scintille un éclair argenté,
Et sa beauté splendide éclate
Comme une grenade en été.

Au son des guitares d'Espagne
Ma voix longtemps la célébra.
Elle vint un jour, sans compagne,
Et ma chambre fut l'Alhambra.

Plus loin une beauté robuste,
Aux bras forts cerclés d'anneaux lourds,
Sertit le marbre de son buste
Dans les perles et le velours.

D'un air de reine qui s'ennuie
Au sein de sa cour à genoux,
Superbe et distraite, elle appuie
La main sur un coffre à bijoux.

Хоть жизнь меня влечет без цели,
Но ты со мной, как в первый день,
Ты, мертвая, цветок постели,
В костюме маскарадном тень!

Искусство для природы узко,
Мурильо превзойден вполне,
И вот в Париже Андалузка
Смеется на другой стене.

С причудливостью поэтичной
Одела зимняя пора
Пленительностью экзотичной
Вторую Петра Камара.

Горяче-золотые щеки
Покрыл пурпурный слой румян,
И сквозь ресницы луч далекий
Блестит, как солнце сквозь туман.

Меж губок, с негою восточной,
Зубов поблескивает ряд,
И вся она пылает, точно
Палящим летом цвет гранат.

Как звон гитар испанских, милой,
Мой голос пел ей всё "люблю".
Она пришла и превратила
В Альгамбру комнату мою.

Но вот красавица иная,
Могучая, бросает зов,
Грудь мраморную выставя
Из бархата и жемчугов.

Скучающею королевой
Перед послушною толпой,
Она облокотилась левой
Рукой на ящик золотой.

Sa bouche humide et sensuelle
Semble rouge du sang des cœurs,
Et, pleins de volupté cruelle,
Ses yeux ont des défis vainqueurs.

Ici, plus de grâce touchante,
Mais un attrait vertigineux.
On dirait la Vénus méchante
Qui préside aux amours haineux.

Cette Vénus, mauvaise mère,
Souvent a battu Cupidon.
O toi, qui fus ma joie amère,
Adieu pour toujours... et pardon!

Dans son cadre, que l'ombre moire,
Au lieu de réfléchir mes traits,
La glace ébauche de mémoire
Le plus ancien de mes portraits.

Spectre rétrospectif qui double
Un type à jamais effacé,
Il sort du fond du miroir trouble
Et des ténèbres du passé.

Dans son pourpoint de satin rose,
Qu'un goût hardi coloria,
Il semble chercher une pose
Pour Boulanger ou Devéria.

Terreur du bourgeois glabre et chauve,
Une chevelure à tous crins
De roi franc ou de lion fauve
Roule en torrent jusqu'à ses reins.

Tel, romantique opiniâtre,
Soldat de l'art qui lutte encor,
Il se ruait vers le théâtre
Quand d'Hernani sonnait le cor.

Рот влажный дышит вождельем,
Он красен, он сожжет сейчас,
И царственным полны презреньем
Зрачки преступно страстных глаз.

И то не грация живая —
Стремительное забытье.
Сказали бы — Венера злая,
И ненависть в любви ее.

Как часто была Купидона
Венера эта — злая мать...
И моего не помнит стона,
Прости навек — прости опять.

Как, в зеркалах изображения
Меня теперешнего нет!
И поднялся, как привиденье,
Там самый первый мой портрет!

Старинный призрак. Голос громок,
И взгляд, огнем горящий, встал
Из влитых в прошлое потемок,
Со дна взволнованных зеркал.

В жилете красном, словно роза,
И шелестящем, как змея,
Стоит... его годится поза
Для Буланже, Девериа.

И кудри, взбитые как надо
На ужас лысым буржуа,
На плечи падают каскадом,
Как золотая грива льва.

Таков, романтиком упрямым,
Солдат искусства, вечно смел,
Он проходил театром-храмом,
Когда Эрнани рог звенел.

...La nuit tombe et met avec l'ombre
Ses terreurs aux recoins dormants,
L'inconnu, machiniste sombre,
Monte ses épouvantements.

Des explosions de bougies
Crèvent soudain sur les flambeaux!
Leurs auréoles élargies
Semblent des lampes de tombeaux.

Une main d'ombre ouvre la porte
Sans en faire grincer la clé.
D'hôtes pâles qu'un souffle apporte
Le salon se trouve peuplé.

Les portraits quittent la muraille,
Frottant de leurs mouchoirs jaunis,
Sur leur visage qui s'éraïlle,
La crasse fauve du vernis,

D'un reflet rouge illuminée,
La bande se chauffe les doigts
Et fait cercle à la cheminée
Où tout à coup flambe le bois.

L'image au sépulcre ravie
Perd son aspect roide et glacé;
La chaude pourpre de la vie
Remonte aux veines du passé.

Les masques blafards se colorent
Comme au temps où je les connus.
O vous que mes regrets déplorent,
Amis, merci d'être venus!

Les vaillants de dix-huit cent trente,
Je les revois tels que jadis.
Comme les pirates d'Otrante
Nous étions cent, nous sommes dix.

...Ночь падает, и тени ночи
В заснувших прячутся углах.
Неведомое, темный зодчий,
На страх нагромождает страх.

Сквозь свет от факелов тяжелый
Блеснет свечей мгновенный пыл,
Широкие их ореолы
Сияют лампами могил.

И вот раскрылись двери сами,
Замком не звякнув, в мой салон,
И ветра бледными гостями
Внезапно сумрак населен.

Портреты стены покидают
И желтым носовым платком
Поспешно с лиц своих стирают
Растаявшего лака ком.

Озарены дрожащей свечкой,
Твердят неясные слова
И пальцы греют перед печкой,
Где ярко вспыхнули дрова.

Их отдала назад гробница,
Их взгляд не страшен, не тяжел,
Горячий пурпур хлынул в лица
И в вены прошлого вошел.

О, эти маски снеговые!
Они внезапно зацвели,
Ах, это вы, мои бывшие
Друзья! Спасибо, что пришли.

Я помню восемьсот тридцатый
Год, и я в нем опять, опять.
Мы — как Отрантские пираты,
Нас было сто, осталось пять.

L'un étale sa barbe rousse
Comme Frédéric dans son roc,
L'autre superbement retrousse
Le bout de sa moustache en croc.

Drapant sa souffrance secrète
Sous les fiertés de son manteau,
Pétrus fume une cigarette
Qu'il baptise papelito.

Celui-ci me conte ses rêves,
Hélas! jamais réalisés,
Icare tombé sur les grèves
Où gisent les essors brisés.

Celui-là me confie un drame
Taillé sur le nouveau patron
Qui fait, mêlant tout dans sa trame,
Causer Molière et Calderon.

Tom, qu'un abandon scandalise,
Récite «Love's labours lost»,
Et Fritz explique à Cidalise
Le «Walpurgisnachtstraum» de Faust.

Mais le jour luit à la fenêtre;
Et les spectres, moins arrêtés,
Laissent les objets transparaître
Dans leurs diaphanéités.

Les cires fondent consumées;
Sous les cendres s'éteint le feu,
Du parquet montent des fumées;
Château du Souvenir, adieu!

Encore une autre fois décembre
Va retourner le sablier.
Le présent entre dans ma chambre
Et me dit en vain d'oublier.

Тот важен рыжей бородою,
Как Фридрих Барбаросса сам,
И этот тонкою рукою
Проводит по большим усам.

Скрывая вечные вопросы
Под блеском своего манто,
Сжигает Петрус папиросы,
Он их зовет "папелито".

Тот мне рассказывает планы,
Они не осуществлены,
Икар, упавший в океаны,
Что всем порывам суждены.

У этого готова драма,
Где новый метод воплощен,
Где говорить друг с другом прямо
Могли Мольер и Кальдерон.

Том запустенье замечает
И шепчет: "Love's labours lost",
Фриц Сидализе объясняет,
Как Мефистофель прячет хвост.

Встающий день в окошке блещет,
А призракам милее мгла;
И уж просвечивают вещи
Сквозь их прозрачные тела.

Растаяв, свечи угасают,
Дымком подернулся паркет,
В камине искры тают, тают,
Дворца Воспоминанья нет.

Опять декабрь рукою властной
Песочные часы свернет,
И настоящее напрасно
Меня к забвению зовет.

CAMÉLIA ET PÂQUERETTE

On admire les fleurs de serre
Qui loin de leur soleil natal,
Comme des joyaux mis sous verre,
Brillent sous un ciel de cristal.

Sans que les brises les effleurent
De leurs baisers mystérieux,
Elles naissent, vivent et meurent
Devant le regard curieux.

A l'abri de murs diaphanes,
De leur sein ouvrant le trésor,
Comme de belles courtisanes,
Elles se vendent à prix d'or.

La porcelaine de la Chine
Les reçoit par groupes coquets,
Ou quelque main gantée et fine
Au bal les balance en bouquets.

Mais souvent parmi l'herbe verte,
Fuyant les yeux, fuyant les doigts,
De silence et d'ombre couverte,
Une fleur vit au fond des bois.

Un papillon blanc qui voltige,
Un coup d'œil au hasard jeté,
Vous fait surprendre sur sa tige
La fleur dans sa simplicité,

Belle de sa parure agreste
S'épanouissant au ciel bleu,
Et versant son parfum modeste
Pour la solitude et pour Dieu.

Sans toucher à son pur calice
Qu'agite un frisson de pudeur,

КАМЕЛИЯ И МАРГАРИТКА

Всем нравятся цветы в теплице,
Те, что от родины вдали
В кристальной сказочной темнице
Великолепно расцвели.

И ветерки теперь не станут
Дарить им поцелуй живой,
Они рождаются и вянут
Пред любопытною толпой.

За бриллиантовой стеною,
Как куртизанок молодых,
Лишь непомерною ценою
Купить возможно прелесть их.

Фарфор китайский чередою
Соединил их нежный сон,
На бал изящною рукою
Букет их свежий принесен.

Но часто между трав зеленых,
Вдали от взглядов и от рук,
В тени ветвей переплетенных
Цвет украшает светлый луг.

Лишь взгляд, опущенный случайно,
Лишь пролетевший мотылек
Пред вами раскрывают тайну,
Которой жив простой цветок.

Пускай украшен он немного,
Цвести под синим небом рад,
Для одиночества и Бога
Струит он скромный аромат.

Склонясь над чашечкою чистой
И не касаясь ничего,

Vous respirez avec délice
Son âme dans sa fraîche odeur.

Et tulipes au port superbe,
Camélias si chers payés,
Pour la petite fleur sous l'herbe,
En un instant, sont oubliés!

LA FELLAH

SUR UNE AQUARELLE DE LA PRINCESSE M...

Caprice d'un pinceau fantasque
Et d'un impérial loisir,
Votre fellah, sphinx qui se masque,
Propose une énigme au désir.

C'est une mode bien austère
Que ce masque et cet habit long;
Elle intrigue par son mystère
Tous les Œdipes du salon.

L'antique Isis légua ses voiles
Aux modernes filles du Nil;
Mais, sous le bandeau, deux étoiles
Brillent d'un feu pur et subtil.

Ces yeux qui sont tout un poème
De langueur et de volupté
Disent, résolvant le problème:
«Sois l'amour, je suis la beauté.»

LA MANSARDE

Sur les tuiles où se hasarde
Le chat guettant l'oiseau qui boit,
De mon balcon une mansarde
Entre deux tuyaux s'aperçoit.

Вы наслаждаетесь душистой
Мечтою легкой его.

И чужеземные тюльпаны,
Камелии большой цены,
На миг оденутся в туманы,
Простым цветком превзойдены.

ФЕЛЛАШКА

АКВАРЕЛЬ ПРИНЦЕССЫ М.

Каприз кистей, игравших краской,
И императорских забав,
Феллашка ваша — сфинкс под маской,
Загадку чувствам загадав.

Ах, мода, полная законов, —
И маска та, и ткань хламид;
Она Эдипов из салонов
Своею тайною томит.

Вуаль Изида сохранила
Для новых Нильских дочерей;
Но под повязкой два светила
Сияют, пламени светлей.

Глаза! они глядят так сладко,
В них чувственность с мечтой слита,
И в их речах звучит отгадка:
"Любовью будь, я — красота".

МАНСАРДА

На черепицах, там, где кошка
Выслеживает воробья,
Выглядывая из окошка,
Мансарду замечаю я.

Pour la parer d'un faux bien-être,
Si je mentais comme un auteur,
Je pourrais faire à sa fenêtre
Un cadre de pois de senteur,

Et vous y montrer Rigolette
Riant à son petit miroir,
Dont le tain rayé ne reflète
Que la moitié de son œil noir ;

Ou, la robe encor sans agrafe,
Gorge et cheveux au vent, Margot
Arrosant avec sa carafe
Son jardin planté dans un pot ;

Ou bien quelque jeune poète
Qui scande ses vers sibyllins,
En contemplant la silhouette
De Montmartre et de ses moulins.

Par malheur, ma mansarde est vraie ;
Il n'y grimpe aucun liseron,
Et la vitre y fait voir sa taie,
Sous l'ais verdi d'un vieux chevron.

Pour la grisette et pour l'artiste,
Pour le veuf et pour le garçon,
Une mansarde est toujours triste :
Le grenier n'est beau qu'en chanson.

Jadis, sous le comble dont l'angle
Penchait les fronts pour le baiser,
L'amour, content d'un lit de sangle
Avec Suzon venait causer.

Mais pour ouater notre joie,
Il faut des murs capitonnés,
Des flots de dentelle et de soie,
Des lits par Monbro festonnés.

Чтоб сделать вид ее приветным,
Я мог бы — лгать и мне дано —
Плющом, горошком незаметным
Для вас убрать ее окно.

И показать вам хохотушку
Пред старым зеркальцем своим,
Что отражает только мушку
Над подбородком молодым.

Иль у холодного камина
С открытой шеею Марго,
Что поливает из графина
Растенья сада своего.

Или поэта молодого
Над сибилическим стихом,
Следящего в дали лиловой
Монмартр и мельницы на нем.

Моя мансарда — ах, не сказка;
Ее окошка плющ не скрыл,
И только старая замазка
Видна над бревнами стропил.

Артист, веселая гризетка,
Вдовец и юный холостяк
Мансарду любят очень редко,
И только в песнях мил чердак.

Когда-то под косою крышей,
Ценя ременную кровать,
И сам Амур взбирался выше
С Сузанною потолковать.

Но, чтобы ощущать блаженство,
Нужны хрусталь и серебро,
Шелков и кружев совершенство,
Кровать из мастерской Монбро.

Un soir, n'étant pas revenue,
Margot s'attarde au mont Bréda,
Et Rigolette entretenue
N'arrose plus son réséda.

Voilà longtemps que le poète
Las de prendre la rime au vol,
S'est fait *reporter* de gazette,
Quittant le ciel pour l'entresol.

Et l'on ne voit contre la vitre
Qu'une vieille au maigre profil,
Devant Minet, qu'elle chapitre,
Tirant sans cesse un bout de fil.

LA NUE

A l'horizon monte une nue,
Sculptant sa forme dans l'azur:
On dirait une vierge nue
Émergeant d'un lac au flot pur.

Debout dans sa conque nacrée,
Elle vogue sur le bleu clair,
Comme une Aphrodite éthérée,
Fait de l'écume de l'air;

On voit onder en molles poses
Son torse au contour incertain,
Et l'aurore répand des roses
Sur son épaule de satin.

Ses blancheurs de marbre et de neige
Se fondent amoureusement
Comme, au clair-obscur du Corrège,
Le corps d'Antiope dormant.

Марго однажды спозаранку
Ушла на улицу Бредá,
И уж Сузанну-содержанку
Не забавляет резеда.

Давно поэт с горящим взором
Оставил рифм восторг и боль:
Он стал газетным репортером,
Ведь небеса не антресоль.

И за окошком все страшнее
Старуха тощая молчит,
Погружена в Четьи-Минеи,
И нитку пальцами сучит.

ТУЧКА

На горизонте, улетая,
Поднялась тучка на простор,
Ты скажешь, девушка нагая
Встает из голубых озер.

Она спешит уже открыто,
Ее зовет голубизна,
Как будто это Афродита,
Из пен воздушных создана; .

Какие принимает позы
Стан этот, гибкий, как копьё,
Заря свои роняет розы
На плечи белые ее.

Та белизна сродни виденью
И расплывается в туман,
Корреджио так светотенью
Окутал Антиопы стан.

Elle plane dans la lumière
Plus haut que l'Alpe ou l'Apennin ;
Reflet de la beauté première,
Sœur de «l'éternel féminin».

A son corps, en vain retenue,
Sur l'aile de la passion,
Mon âme vole à cette nue
Et l'embrasse comme Ixion.

La raison dit: «Vague fumée,
Où l'on croit voir ce qu'on rêva,
Ombre au gré du vent déformée,
Bulle qui crève et qui s'en va!»

Le sentiment répond: «Qu'importe!
Qu'est-ce après tout que la beauté?
Spectre charmant qu'un souffle emporte
Et qui n'est rien, ayant été!

«A l'Idéal ouvre ton âme;
Mets dans ton cœur beaucoup de ciel,
Aime une nue, aime une femme,
Mais aime! — C'est l'essentiel!»

LE MERLE

Un oiseau siffle dans les branches
Et sautille gai, plein d'espoir,
Sur les herbes, de givre blanches,
En bottes jaunes, en frac noir.

C'est un merle, chanteur crédule,
Ignorant du calendrier,
Qui rêve soleil, et module
L'hymne d'avril en février.

Она в лучах, необычайна,
В ней все сиянья, все мечты:
То — вечной женственности тайна,
То — отблеск первой красоты.

Я позабыл оковы тела,
И, на крылах любви взнесен,
За ней мой дух стремится смело
Лобзать ее, как Иксион.

Твердит рассудок: "Призрак дыма,
Где каждый видит, что желал;
Тень, легким ветерком гонима,
Пузырь, что лопнул и пропал".

Но чувство отвечает: "Что же?
Не такова ль и красота?
Она была, но вот — о Боже! —
Взамен осталась пустота.

Ты, сердце, жадно до созвучий,
Так будь же светом залито,
Люби хоть женщину, хоть тучи...
Люби! — Всего нужнее то!"

ДРОЗД

В лесу свистит протяжно птица
И на обмерзлые кусты
С надеждой светлою садится,
Фрак черен, сапоги желты.

То дрозд, наивный по природе,
Не знающий календаря,
Что верит в солнце и выводит
Апрельский гимн средь января.

Pourtant il vente, il pleut à verse ;
L'Arve jaunit le Rhône bleu,
Et le salon tendu de perse,
Tient tous ses hôtes près du feu.

Les monts sur l'épaule ont l'hermine,
Comme des magistrats siégeant ;
Leur blanc tribunal examine
Un cas d'hiver se prolongeant.

Lustrant son aile qu'il essuie,
L'oiseau persiste en sa chanson ;
Malgré neige, brouillard et pluie,
Il croit à la jeune saison.

Il gronde l'aube paresseuse
De rester au lit si longtemps
Et, gourmandant la fleur frileuse,
Met en demeure le printemps.

Il voit le jour derrière l'ombre ;
Tel un croyant, dans le saint lieu,
L'autel désert, sous la nef sombre,
Avec sa foi voit toujours Dieu.

A la nature il se confie
Car son instinct pressent la loi,
Qui rit de ta philosophie,
Beau merle, est moins sage que toi!

LA FLEUR QUI FAIT LE PRINTEMPS

Les marronniers de la terrasse
Vont bientôt fleurir, à Saint-Jean,
La villa d'où la vie embrasse
Tant de monts bleus coiffés d'argent.

А тут же хлещет дождь струями,
Арв Рону синюю желтит,
Салон, завешанный шелками,
Перед огнем гостей хранит.

Под мантией из горностая,
Как судьи, горы в полумгле,
Они суровы, размышляя
О затянувшейся зиме.

А птица скачет по бурьяну
И так настойчиво поет;
Назло снегам, дождю, туману
Все верит, что тепло придет.

Смеется над зарей ленивой,
Зачем так долго спит она;
Подснежник трогает стыдливый,
Чтобы скорей пришла весна.

И видит день, что скрыт тенями...
Так простодушный пилигрим
Пред алтарем в пустынном храме
Все Бога чувствует за ним.

Она доверилась природе,
Инстинкт предчувствует закон.
Дрозд, кто смешным тебя находит,
Тот более тебя смешон.

ЦВЕТОК, ЧТО ДЕЛАЕТ ВЕСНУ

Так скоро, к дню Святого Жана, —
Я ждать их больше не могу —
Распустятся цветы каштана
У виллы, на большом лугу.

La feuille, hier encor pliée
Dans son étroit corset d'hiver,
Met sur la branche déliée
Les premières touches de vert.

Mais en vain le soleil excite
La sève des rameaux trop lents;
La fleur retardataire hésite
A faire voir ses thyrses blancs.

Pourtant le pêcher est tout rose,
Comme un désir de la pudeur,
Et le pommier, que l'aube arrose,
S'épanouit dans sa candeur.

La véronique s'aventure
Près des boutons d'or dans les prés;
Les caresses de la nature
Hâtent les germes rassurés.

Il me faut retourner encore
Au cercle d'enfer où je vis;
Marronniers, pressez-vous d'éclore
Et d'éblouir mes yeux ravis.

Vous pouvez sortir pour la fête
Vos girandoles sans péril,
Un ciel bleu luit sur votre façade
Et déjà mai talonne avril.

Par pitié donnez cette joie
Au poète dans ses douleurs,
Qu'avant de s'en aller, il voie
Vos feux d'artifice de fleurs.

Grands marronniers de la terrasse,
Si fiers de vos splendeurs d'été,
Montrez-vous à moi dans la grâce
Qui précède votre beauté.

Листок, еще вчера сокрытый,
Уже почувствовал весну;
На ветке, с веткой перевитой,
Гореть зеленому, пятну!

Но даром солнце встало прямо
И ветви жаркий луч палит —
Цветок колеблется упрямый
И тирсы белые таит.

Однако розовеет слива,
Как вожделение стыда,
И яблоня, как переливы
Весенних зорь, стоит горда.

И вероника стала смелой,
Благоухания полна,
Природа ласкою умелой
Торопит к жизни семена.

Я должен снова возвратиться
В тот ад, где вынужден я жить,
Скорей, каштаны, распусться
Спешите и меня пленить.

Ведь можете вы безопасно
Рассыпать яркий сноп ракет,
Уж голубое небо ясно,
Апрелю май бежит вослед.

О, дайте эту радость рая
Позту, что рыдать готов,
Пусть он увидит, уезжая,
Гирлянды огненных цветов.

Каштаны, не вернуться снегу,
Вы блеском солнца залиты,
Так покажите мне ту негу,
Что светит раньше красоты.

Je connais vos riches livrées,
Quand octobre, ouvrant son essor,
Vous met des tuniques pourprées,
Vous pose des couronnes d'or.

Je vous ai vus, blanches ramées,
Pareils aux dessins que le froid
Aux vitres d'argent étamées
Trace, la nuit, avec son doigt.

Je sais tous vos aspects superbes,
Arbres géants, vieux marronniers,
Mais j'ignore vos fraîches gerbes
Et vos arômes printaniers.

Adieu, je pars lassé d'attendre ;
Gardez vos bouquets éclatants !
Une autre fleur suave et tendre,
Seule à mes yeux fait le printemps.

Que mai remporte sa corbeille !
Il me suffit de cette fleur ;
Toujours pour l'âme et pour l'abeille
Elle a du miel pur dans le cœur.

Par le ciel d'azur ou de brume
Par la chaude ou froide saison,
Elle sourit, charme et parfume,
Violette de la maison !

DERNIER VŒU

Voilà longtemps que je vous aime :
— L'aveu remonte à dix-huit ans ! —
Vous êtes rose, je suis blême ;
J'ai les hivers, vous les printemps.

Я знаю, знаю, вы велики,
Когда октябрь, что в вас влюблен,
Дает вам красные туники
И роскошь золотых корон.

И белые я видел ветки,
Как те рисунки, что мороз
На стеклах брошенной беседки
Рукой уверенной нанес.

Каштаны, гордые виденья,
Я знаю всякий ваш наряд,
Но мне неведомо цветенье
И ваш весенний аромат.

Я, не дождавшись, уезжаю,
Блестящий ваш букет — не мне!
Другой цветок — он нежный, знаю —
Один мне скажет о весне.

В корзине, что несет природа,
Лишь одному цветку хвалы!
В его сердечке много меда
И для души и для пчелы.

Печально небо иль ликует,
Зефир ли дует иль Борей,
Смеется, пахнет и чарует
Фиалка в комнате моей.

ПОСЛЕДНЯЯ МОЛЬБА

Я вас люблю: мое признание
Идет к семнадцати годам!
Я — только сумрак, вы — сиянье,
Мне — только зимы, весны — вам.

Des lilas blancs de cimetière
Près de mes tempes ont fleuri;
J'aurai bientôt la touffe entière
Pour ombrager mon front flétri.

Mon soleil pâli qui décline
Va disparaître à l'horizon,
Et sur la funèbre colline
Je vois ma dernière maison.

Oh! que de votre lèvre il tombe
Sur ma lèvre un tardif baiser,
Pour que je puisse dans ma tombe,
Le cœur tranquille, reposer!

PLAINTIVE TOURTERELLE

Plaintive tourterelle,
Qui roucoules toujours,
Veux-tu prêter ton aile
Pour servir mes amours!

Comme toi, pauvre amante,
Bien loin de mon ramier,
Je pleure et me lamente
Sans pouvoir l'oublier.

Vole et que ton pied rose
Sur l'arbre ou sur la tour
Jamais ne se repose,
Car je languis d'amour.

Évite, ô ma colombe,
La halte des palmiers
Et tous les toits où tombe
La neige des ramiers.

Мои виски уже покрыли
Кладбища белые цветы,
И скоро целый ворох лилий
Сокроет все мои мечты.

Уже звезда моя прощальным
Вдали сияет мне лучом,
Уже на холме погребальном
Я вижу мой последний дом.

Но если бы вы подарили
Мне поцелуй один, как знать! —
Я мог бы и в глухой могиле
С покойным сердцем отдыхать.

ПЕЧАЛЬНАЯ ГОЛУБКА

Голубка, как печальны
Все песенки твои,
Лети дорогой дальней,
Служи моей любви.

Как ты, разлуку злую
Должна я выносить,
Я плачу и тоскую
И не могу забыть.

Лети, не опускаясь
Ни в роще, ни в саду,
Все выше поднимаясь,
Припомни, что я жду.

Лети же, избегая
Высоких тополей
И крыш, где бродит стая
Веселых голубей.

Va droit sur sa fenêtre,
Près du palais du roi,
Donne-lui cette lettre
Et deux baisers pour moi.

Puis sur mon sein en flamme,
Qui ne peut s'apaiser,
Reviens, avec son âme,
Reviens te reposer.

LA BONNE SOIRÉE

Quel temps de chien! — il pleut, il neige
Les cochers, transis sur leur siège,
Ont le nez bleu.
Par ce vilain soir de décembre,
Qu'il ferait bon garder la chambre,
Devant son feu!

A l'angle de la cheminée
La chauffeuse capitonée
Vous tend les bras
Et semble avec une caresse
Vous dire comme une maîtresse:
«Tu resteras!»

Un papier rose à découpures,
Comme un sein blanc sous des guipures,
Voile à demi
Le globe laiteux de la lampe
Dont le reflet au plafond rampe,
Tout endormi.

On n'entend rien dans le silence
Que le pendule qui balance
Son disque d'or,
Et que le vent qui pleure et rôde,

Его окошко близко
От царского дворца,
Снеси ему записку
С лобзаньем без конца.

Я грудь тебе открою,
Что мучится все дни,
Туда с его душою
Вернись и отдохни.

ХОРОШИЙ ВЕЧЕР

Что за погода! — Ветер, вьюга,
И кучера бранят друг друга
Иззябшим ртом.
Ах, в этот час моя истома
Влечет меня остаться дома
Перед огнем.

Я вижу, на углу камина,
Как вылепленная ундина
Меня зовет
Заботливым любовным взором
И шепчет с ласковым укором:
"Ведь дождь идет!"

Колпак над лампою молочный
В бумаге розовой — точно
Девичья грудь,
Окутанная кружевами;
И отсвет на оконной раме
Дрожит чуть-чуть.

Не слышно ничего в молчанье:
Лишь маятника бормотанье
Звучит всегда,
Да ветер, что блуждает, плача,

Parcourant, pour entrer en fraude,
Le corridor.

C'est bal à l'ambassade anglaise ;
Mon habit noir est sur la chaise,
Les bras ballants ;
Mon gilet bâille et ma chemise
Semble dresser, pour être mise,
Ses poignets blancs.

Les brodequins à pointe étroite
Montrent leur vernis qui miroite,
Au feu placés ;
A côté des minces cravates
S'allongent comme des mains plates
Les gants glacés.

Il faut sortir! — quelle corvée!
Prendre la file à l'arrivée
Et suivre au pas
Les coupées des beautés altières
Portant blasons sur leurs portières
Et leurs appas.

Rester debout contre une porte
A voir se ruer la cohorte
Des invités ;
Les vieux museaux, les frais visages,
Les fracs en cœur et les corsages
Décolletés ;

Les dos où fleurit la pustule,
Couvrant leur peau rouge d'un tulle
Aérien ;
Les dandys et les diplomates,
Sur leurs faces à teintes mates,
Ne montrant rien.

Как будто бы его задача
Войти сюда.

То вечер в английском посольстве;
Мой фрак, товарищ удовольствий,
Передо мной,
Жилет зевает, и рубашка
Уже висит на стуле тяжко,
Горда собой.

Ботинки — с узкими носками;
На лаке их зажжен огнями
Блестящий круг,
И рядом с галстухом перчатки,
Небрежно брошенные, гладки,
Как пара рук.

Пора идти! — Что за невзгода!
Равняться в очередь у входа
И по пятам
Следить ряды карет бегущих,
Гербы различные несущих,
И разных дам.

В дверях теряться и колоннах,
Смотреть на толпы приглашенных
И замечать
То мушки, то седые баки,
Открытые корсажи, фраки,
Опять, опять.

И тюль, на облачко похожий,
Над красноватой, дряблой кожей
Прыщавых спин;
Высоких денди, дипломатов,
В морщинах лбов своих покатых
Таящих сплин.

Et ne pouvoir franchir la haie
Des douairières aux yeux d'orfraie
Ou de vautour,
Pour aller dire à son oreille
Petite, nacrée et vermeille,
Un mot d'amour!

Je n'irai pas! — et ferai mettre
Dans son bouquet un bout de lettre
A l'Opéra.
Par les violettes de Parme,
La mauvaise humeur se désarme:
Elle viendra!

J'ai là l'*Intermezzo* de Heine,
Le *Thomas Grain-d'orge* de Taine,
Les deux Goncourt;
Le temps, jusqu'à l'heure où s'achève
Sur l'oreiller l'idée en rêve,
Me sera court.

L'ART

Oui, l'œuvre sort plus belle
D'une forme au travail
Rebelle,
Vers, marbre, onyx, émail.

Point de contraintes fausses!
Mais que pour marcher droit
Tu chausses,
Muse, un cothurne étroit.

Fi du rythme commode,
Comme un soulier trop grand,
Du mode
Que tout pied quitte et prend!

И сквозь решетку вдов сидящих,
Глазами коршуна глядящих
Вокруг тебя,
Пройти я не сумею тайно,
Чтобы шепнуть как бы случайно:
"Я жду, любя".

Я не поеду! — Но в концерте
В букете спрятанный конвертик
Лишь ей сверкнет;
Фиалок пармских дуновенье
Убьет дурное настроенье,
Она придет.

А я найду, куда мне деться:
На полке Гейне "Интермеццо",
Гонкуры, Тэн;
Промчится время незаметно,
И тихо сон меня приветный
Захватит в плен.

ИСКУССТВО

Искусство тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней:
Стих, мрамор иль металл.

О светлая подруга,
Стеснения гони,
Но туго
Котурны затяни.

Прочь легкие приемы,
Башмак по всем ногам,
Знакомый
И нищим и богам.

Statuaire, repousse
L'argile que pétrit
 Le pouce
Quand flotte ailleurs l'esprit ;

Lutte avec le carrare,
Avec le paros dur
 Et rare,
Gardiens du contour pur ;

Emprunte à Syracuse
Son bronze où fermement
 S'accuse
Le trait fier et charmant ;

D'une main délicate
Poursuis dans un filon
 D'agate
Le profil d'Apollon.

Peintre, fuis l'aquarelle,
Et fixe la couleur
 Trop frêle
Au four de l'émailleur.

Fais les sirènes bleues,
Tordant de cent façons
 Leurs queues,
Les monstres des blasons ;

Dans son nimbe trilobe
La Vierge et son Jésus,
 Le globe
Avec la croix dessus.

Tout passe. — L'art robuste
Seul a l'éternité.

Скульптор, не мни покорной
И мягкой глины ком,
Упорно
Мечтая о другом.

С паросским иль каррарским
Борись обломком ты,
Как с царским
Жилищем красоты.

Прекрасная темница!
Сквозь бронзу Сиракуз
Глядится
Надменный облик Муз.

Рукою нежной брата
Очерчивай уклон
Агата,
И выйдет Аполлон.

Художник! Акварели
Тебе не будет жаль!
В купели
Расплавь свою эмаль.

Твори сирен зеленых
С усмешкой на устах,
Склоненных
Чудовищ на гербах.

В трехъярусном сиянье
Мадонну и Христа,
Пыланье
Латинского креста.

Все прах! — Одно, ликуя,
Искусство не умрет,

Le buste
Survit à la cité.

Et la médaille austère
Que trouve un laboureur
Sous terre
Révèle un empereur.

Les dieux eux-mêmes meurent.
Mais les vers souverains
Demeurent
Plus forts que les airains.

Sculpte, lime, cisèle;
Que ton rêve flottant
Se scelle
Dans le bloc résistant!



Статуя
Переживет народ.

И на простой медали,
Найденной средь камней,
Видали
Неведомых царей.

И сами боги тленны,
Но стих не кончит петь,
Надменный,
Властительней, чем медь.

Работать, гнуть, бороться!
И легкий сон мечты
Вольется
В нетленные черты.





Приложение
2





ТАЙНЫЕ СЛИЯНИЯ

ПАНТЕИСТИЧЕСКИЙ МАДРИГАЛ

Тысячелетьями, упрямо
Сверкая средь голубизны,
Два камня греческого храма
Друг другу поверяли сны.

Два перла, слезы о Венере,
Меж раковинных темных створ,
В неведомой ловцам пещере
Вели свой тайный разговор.

Расцветшие в садах Гранады
Под сладко шепчущей струей,
Две розы устремляли взгляды
И лепестки — одна к другой.

Под куполом Святого Марка
Блаженствовали — голубок
И нежная его товарка,
Найдя укромный уголок...

Но время все уничтожает,
И все изменит суть и вид...
Колонна рухнет, перл растает,
Цвет сгинет, птица улетит,

И мира каждая частица
Пополнит тигель бытия,
Чтоб снова к жизни возродиться
Так, как прикажет Судия.

В таинственном преображенье
Из праха взмует красота,
И мрамор обретет движение,
И розой расцветут уста,

И разворкуются голубки
И голуби в гнезде сердец,
И жемчуг превратится в зубки,
В пурпурный спрятавшись ларец...

Ах, не отсюда ль узнавание
Себя в другом — и торжество,
Когда, сквозь бездны расставанья,
Душ утверждается родство?

Так, зачарован ароматом,
Летит к царице сада шмель,
И к атому стремится атом,
Незримую провидя цель,

Так память создает и лепит
Грядущее — из пепла лет
И воскрешает шепот, лепет,
Журчанье струй, лазури цвет,

Мечты, объятья, сновиденья,
И те века, и ту весну,
Чтобы разрозненные звенья
Соединились в цепь одну...

Чтоб не таилась под покровом
Забвенья — страсти благодать,
Чтоб смог цветок — в обличье новом
Румяных уст — себя узнать,

Чтоб древний жемчуг, мрамор вечный,
Влекли сегодня, как магнит,
Улыбкой девушки беспечной
И свежестью ее ланит,

Чтоб воркованьем голубиным
Ответствовал мне голос твой,
Когда, в стремленье двуедином,
Родным становится чужой!

Любовь моя, в том мире давнем,
Где бездны, кущи, купола, —
Я птицей был, цветком, и камнем,
И перлом — всем, чем ты была!

Перевод А. Эфрон

ЖЕНЩИНА-ПОЭМА

”Поэт! пиши с меня поэму! —
Она сказала. — Где твой стих?
Пиши на заданную тему:
Пиши о прелестях моих!”

И вот — сперва ему явилась
В сиянье царственном она,
За ней струистая влачилась
Одежды бархатной волна;

И вдруг — по смелому капризу
Покровы с плеч ее скользят,
И чрез батистовую ризу
Овалов очерки сквозят.

Долой батист! — И тот спустился,
И у ее лилейных ног
Туманом дремлющим склубился
И белым облаком прилег.

Где Апеллесы, Клеомены?
Вот мрамор — плоть! Смотрите: вот —
Из волн морских, из чистой пены
Киприда новая встает!

Но вместо брызг от влаги зыбкой —
Здесь перл, ее рожденный дном,
Прильнул к атласу шеи гибкой
Молочно-радужным зерном.

Какие гимны и сонеты
В строфах и рифмах наготы
Здесь чудно сложены и спеты
Волшебным хором красоты!

Как дальность моря зыби синей
Под дрожью месячных лучей,
Безбрежность сих волнистых линий
Неистошима для очей.

Но миг — и новая поэма:
С блестящим зеркалом в игре
Она султаншею гарема
Сидит на шелковом ковре, —

В стекло посмотрит — усмехнется,
Любуясь прелестью своей,
Глядит — и зеркало смеется
И жадно смотрит в очи ей.

Вот как грузинка прихотливо
Свой наргиле курит она,
И ножка кинута на диво,
И ножка с ножкой скрещена.

Вот — одалиска! Стан послушный
Изогнут легкою дугой
Назло стыдливости тщедушной
И добродетели сухой.

Прочь одалиски вид лукавый!
Прочь гибкость блещущей змеи!
Алмаз без грани, без оправы —
Прекрасный образ без любви.

И вот она в изнеможение,
Ее лелеют грезы сна,
Пред нею милое виденье...
Уста разомкнуты, бледна,

К объятьям призрака придвинув
В восторге млеющую грудь,
Главу за плечи опрокинув,
Она лежит... нет силдохнуть...

Прозрачны вежды опустились,
И, как под дымкой облаков —
Под ними в вечность закатились
Светила черные зрачков.

Не саван ей для погребенья —
Наряд готовьте кружевной!
Она мертва от упоенья.
На смерть похож восторг земной.

К ее могиле путь недалний:
Ей гробом будет — ложе сна,
Могилой — сень роскошной спальни,
И пусть покоится она!

И в ночь, когда ложатся тени
И звезды льют дрожащий свет, —
Пускай пред нею на колени
Падет в безмолвии поэт!

Перевод В. Бенедиктова

ПОЭМА ЖЕНЩИНЫ

ПАРОССКИЙ МРАМОР

Она однажды захотела
Тому, кто так мечтал о ней,
Прочсть, пропеть поэму тела,
Поэму прелести своей.

Сперва пленительной и властной,
Как бы инфантой с полотна,
Влача тяжелый бархат красный,
Предстала перед ним она —

Такой, как у барьера ложи
В театре, где оркестра медь,
Завороженная, не может
О ней восторженно не петь.

Потом, как истая артистка,
Роняя бархат огневой,
Осталась в облаке батиста
И силуэт явила свой.

Скользя, струясь по плоти голой,
По бедрам от поднятых рук,
Рубашка, словно белый голубь,
У белых ног упала вдруг.

Для Фидия и Клеомена
Была бы мрамором она —
Венера Анадиомена,
Восставшая с морского дна.

Стекали светлые, похожи
На капли моря, жемчуга,
Сквозь них по шелковистой коже
Семи цветов легла дуга.

Что радостней и совершенней
Богородицкой наготы,
Поющей строфами движений
Гимн безупречной красоты!

Как неге волн, в песке прибрежном,
Хранящих вечный лунный свет,
Так и ее движениям нежным,
Медлительным предела нет.

Но, быть Венерою наскучив,
Отдавши древним дань сполна,
В ином пластическом созвучье
Нагую плоть дарит она:

Лежит султаншею сераля
В кашмирских вытканых коврах,
На смех коралловый взирая —
Собой любясь в зеркалах;

Грузинке тихой, праздной, пышной
Кальян нашептывает сны,
Бедро округлое недвижно,
И ноги томно скрещены;

И одалиской Энгра, чресла
Дразняще выгнув, возлежит,
Назло застенчивости пресной
И тощей скромности во стыд.

Но прочь, ленивица! Вот истый
Шедевр, чья беспредельна власть,
Вот бриллианта свет искристый,
Вот суть очарованья — страсть!

Откинув голову, не слыша,
Не видя ничего, она
Вздыхает груди, тяжело дышит
И падает в объятья сна,

Трепещут веки, словно крылья,
На темном серебре белка,
И видно, как зрачки поплыли
В бескрайность светлую — в века;

Она изнемогла в экстазе,
Порывом страсти сражена, —
И пусть в батисте или в газе,
Как в саване, лежит она,

И пусть с могильными венками
Никто к ней не подходит, пусть
Фиалок пармских лепестками
У изголовья плачет грусть,

И пусть постель, ее гробница,
Сияет нежной белизной —
Пред ней склониться и молиться
Поэт придет порой ночной!

Перевод Ю. Даниэля

ЭТЮДЫ РУК

1. ИМПЕРИА

Средь гипсов в мастерской Монмартра
Я видел как-то кисть руки.
Аспазия иль Клеопатра?
"Шедевр!" — шептали знатоки.

Как чаши лилий в час рассвета,
Посеребренные росой,
Как строфы стройного сонета,
Она блистала красотой.

Пленяет с бархатного ложа
Изящной формы образец:

И в бликах матовая кожа,
И пальцы в золоте колец.

Хранит их бархат бережливый,
И в поколениях не погиб
Жест флорентийски горделивый —
Руки медлительный изгиб.

Ласкала ль кудри Дон Жуана
Она, рубинами блестя,
Иль в бороде седой султана
Играла гребнем, как дитя?

Царица или жрица страсти
Держала, в тонких пальцах сжав,
Кичливый скипетр самовластья
Иль скипетр чувственных забав?

В желаниях не зная меры,
Она стремилась за мечтой,
За гриву львиную химеры
Хватаясь трепетной рукой.

Полеты царственных фантазий,
Великолепье новизны,
Безумства страстные Аспазий,
Души несбыточные сны;

Гашиша жгучие поэмы,
Баллады рейнского вина
И сумасбродный вихрь богемы
В порывах бурных скакуна —

Всё на скрижаль ладони белой
Сама Венера занесла,
Пометив знаками умело,
Чтоб их Любовь, дрожа, прочла.

Перевод М. Касаткина

Рука убийцы Ласенера,
В бальзам погружена не раз,
Здесь, для контрастного примера,
Лежит приманкой праздных глаз.

И манит любопытных ближе,
След казни все еще храня.
Обрубка в шерсти темно-рыжей
Коснулся с омерзеньем я.

Подобна фараона длани,
Желтее мумии она
И корчит пальцы обезьяны,
Соблазна тайного полна.

И мнится: золота и тела
Неутолимый зуд живет
В ладони этой омертвелой,
Всё так же пальцы эти жжет.

Пороки в складках грубой кожи
След процарапали кругом,
На иероглифы похожий,
Прочтенный бегло палачом.

В морщинах, что ее покрыли,
Заметишь преступлений ряд,
Ожоги от котла в горниле,
Где извращенности кипят.

Рожденный грязною любовью
Разгул, притон и лупанар,
Залитые вином и кровью,
Как оргий цезарских угар.

Но формою бессильно-властной
Рука влечет к себе порой,
Пленяя грацией ужасной,
Бойца жестокой красотой.

Она была аристократкой,
Не зналась с честным молотком —
Приятель жизни бурно-краткой,
Лишь острый нож был ей знаком.

И не была на пальце этом
Мозоль — священный знак трудов.
Убийца явный, лжепоэтом
Был Манфред темных кабаков!

Перевод М. Касаткина

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ ВАРИАЦИИ

I

НА УЛИЦЕ

Старинный мотив карнавала!
Заигранней нет ничего.
Шарманка гнусила, бывало,
И скрипки терзали его.

Для всех табакерок он сразу
Классическим номером стал,
И чиж музыкальную фразу
Из клетки своей повторял.

В тени запыленной беседки,
Под звуки его на балу
Кружились коммí и гризетки
На ветхом дощатом полу.

Слепец на разбитом фаготе
Играет его, и за ним
Собака сорвавшейся ноте
Ворчанием вторит глухим...

И звуки того же мотива
В кафе и публичных садах
Поют гитаристки фальшиво
С улыбкой на бледных губах.

Но вот чародей Паганини,
К нему прикоснувшись жезлом,
Его обессмертил отныне
Своим вдохновенным смычком.

Он, щедро рассыпав по газу
Своих арабесков узор,
Облек обветшалую фразу
В блестящий и новый убор.

II

НА ЛАГУНАХ

Собою прабабушек с детства
Пленял этот странный мотив,
Где слышится грусть и кокетство,
Насмешка и нежный призыв.

Когда-то в разгар карнавала
Звучал над лагунами он,
И ветром с Большого канала
Был в оперу к нам занесен.

Когда запоют его струны —
Мне грезятся: месяца свет,
И синие воды лагуны,
И темных гондол силуэт.

Венера над пеной морскою,
Под звук хроматических гамм,
Блистая волшебной красою,
Является нашим глазам.

Под старый мотив серенады
Ласкают морские струи
Дворцов величавых фасады —
И словно поют о любви.

Венеция, город каналов,
Краса Адриатики вод —
С весельем своих карнавалов,
В старинном мотиве живет.

III

КАРНАВАЛ

Сегодня — разгар карнавала:
И блеск, и веселье, и шум...
Весь город облечься для бала
Спешит в маскарадный костюм.

Вот там — незнакомый с заботой,
Избранник и друг Коломбин —
Смеется визгливою нотой
И дразнит толпу Арлекин.

Вот Доктор с осанкою важной,
Одетый смешно и пестро́,
Его задевает отважно
И локтем толкает Пьеро́.

Как будто бы в такт контрабасу,
И там появляясь, и тут,
Бросает в беспечную массу
Насмешкою едкою шут.

Скрываясь под кружевом маски,
Мелькнуло в толпе домино,
Но эти лукавые глазки
Я, кажется, знаю давно.

Глаза мои верить не смели,
Но только минута одна —
И скрипки воздушные трели
Сказали мне: — Это она! —

IV

ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ

Задорною гаммою смеха
И тихого рокота струн
Смущает болтливое эхо
Спокойные воды лагун.

Но в звуках веселья, игриво
Несущихся в лунную даль,
Мне чудятся вздохи призыва
И тихая чья-то печаль.

Опять предо мной из тумана
Всплывает бывшая любовь,
И плохо зажившая рана
В душе раскрывается вновь...

И речи, звучавшие страстно,
Любовь и цветущий апрель —
Напомнил мучительно-ясно
Мне вздохом своим ригурнель.

Так нежно и так своевольно
Звучала в нем квинта одна,
Что голос любимый невольно
Напомнила сразу она.

Звучала она так задорно,
Так лживо, томя и дразня,
И нежности столько притворной
В ней было, и столько огня,

И столько любви беспредельной,
Насмешки такой глубина,
Что в сердце с тоскою смертельной
Восторг пробуждала она...

Старинный мотив карнавала,
Где вторит улыбка слезам —
Как всё, что давно миновало,
На память приводишь ты нам!

Перевод О. Чюминой

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ "ВЕНЕЦИАНСКОГО КАРНАВАЛА"

1. НА УЛИЦЕ

Мотив заигранный, запетый,
Кто не дружил с тобой и как!
Шарманок дряхлые фальцеты
Под разъяренный лай собак,

И музыкальные шкатулки,
И канарейки — кто сильнее?
И скрипки в каждом переулке,
И юность бабушки моей...

Кто скажет, что в убогом зале,
Среди гирлянд и толчеи,
Под эту дудку не плясали
Ремесленники и швеи?

Что в кабачках среди сирени,
От воскресенья охмелев,
Гуляки разных поколений
Твой не горланили припев?

Его на хнычущем фаготе
Тянул слепец и вдоль и вширь,
Подхватывал на верхней ноте
Четвероногий поводырь,

И худосочные певички,
В кисейных платьицах дрожа,
Его чирикали, как птички,
Меж столиков кафе кружа...

Но вот случилось Паганини
Своим божественным смычком
Коснуться темы, что доньше
Слыла истертым пятачком, —

Чтоб вновь пустить на круговую,
Варьяциями расцветив,
Затасканный напропалую
Неумирающий мотив...

Перевод А. Эфрон

2. ЛАГУНЫ

Мотив, вошедший в каждый дом,
Влюбленный, озорной, упрямый...
Мне кажется, он всем знаком:
Его любили наши мамы.

”Венецианский карнавал”
Звучал когда-то на каналах,
Но ветерок его примчал
В балетный зал на крыльях шалых.

Я слушаю, глаза прикрыв,
Напев то грустный, то веселый...
Похожий на скрипичный гриф,
Лагуну режет нос гондолы.

Сквозь хроматический дурман
Всплывает из лазурной сферы
Жемчужно-розоватый стан
Адриатической Венеры.

Встают литые купола
В обводах музыкальных линий,
И каждая из них кругла,
Как дышащая грудь богини.

Причаливаем. У столба
Канаты скользкие ветвятся.
Я вижу мраморного льва
И розовый фасад палаццо.

Дворцы, гондолы, зелень вод
И карнавальные проказы —
Сама Венеция живет
В полете мелодичной фразы.

Легко вибрирует струна,
И в пиццикато вновь воспета
Когда-то вольная страна,
Беспечный город Каналетто.

Перевод В. Портнова

3. КАРНАВАЛ

Венеция спешит на бал,
И карнавал, в огнях и блестках,
Защебетал и замерцал
На всех путях и перекрестках.

По маске — негр, по шкуре — змей,
Вот Арлекин Кассандра мучит,
Вот он погнал его взащей
И вслед пронзительно мяучит.

На белом бел, торчит Пьеро
В крахмальных брыжах, точно в раме,
Мигает девушкам хитро,
Призывно машет рукавами.

Болонский Доктор, словно трель,
Латинскую выводит глоссу.
Насупленный Полишинель
Огромный крюк приладил к носу.

Вот Тривелин, свирепый муж,
Кладет соседа на лопатки,
А Коломбине Скарамуш
Вручает веер и перчатки.

Вот домино легко скользит
И мимоходом строит глазки,
И черный шелк ресниц сквозит
В разрезах черной полумаски.

Ах, тонкий кружевной заслон,
Колеблемый ее дыханьем...
Она! Я весь заморожен
Вуали плавным колыханьем.

Не скрыл под жесткою корою
Картонной маски профиль четкий
Пушка над розовой губой
И родинки на подбородке.

Перевод В. Портнова

4. СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ЛУННЫЙ СВЕТ

Сквозь исступленье карнавала
Шутихою взмывает вдруг
Над лунной прорезью канала
Фонтаном в небо бьющий звук...

Напев шальной! Зачем в твой лепет
И бубенцов твоих трезвон
Вплетается страданья трепет,
Разлуки голубиный стон?

Из гулкой и туманной дали
Зачем меня тревожишь вновь
В своей негаснущей печали
Ты, прошлогодняя любовь?

Былой апрель в лесу былого,
Зачем сжимаешь сердце в ком
И пальцы нам сплетаешь снова
Над первым голубым цветком?

О, как не отличить в сверлящей,
Дрожащей звуковой волне
Ребятиливый твой голос, дующий
Серебряную боль во мне!

В нем холод, пламя, смех, смятенье,
Ложь, нежность, дерзость, плутовство...
Подобно смерти упоенье,
С которым слушаешь его,

С которым алою капелью
Душа сочится круглый год...
Так над колодезной купелью
Роняет слезы влажный свод...

Избитой карнавальнoй темы
Варьяция! Сквозь слезы — смех...
Как от тебя страдаем все мы!
А я, пожалуй, горше всех...

Перевод А. Эфрон

МАЖОРНО-БЕЛАЯ СИМФОНИЯ

Над Рейном раздается пенье,
И сказочною чередой
Дев-лебедей скользят виденья
По темной заводи речной.

Их крылья чище снегопада,
Но нагота еще светлей,
Чем пух девичьего наряда,
Уроненного меж ветвей.

И в наше бытие земное
Одна из них слетит на миг —
Таким сияньем под луною
Сквозит заоблачный ледник;

Под красотой заледенелой
Пленительно утаена,
Нам чудится, сжигает тело
Неистовая белизна!

С камелиями и шелками
Ведет она великий бой,
С заносчивыми смельчаками
Соперничая белизной,

И перед этой грудью снежной
Сдаются платье и цветы.
Их поражение неизбежно,
Они от ревности желты!

Плечо играет искрой белой,
Мерцает ледяным огнем,
Как будто изморозь осела
За ночь полярную на нем.

Навеяна слюдою снега,
По волокну ль извлечена
Из тростникового побега
Слепящей кожи белизна?

Что это? Ворс морозной пыли
На зимнем небе голубом;
Морская пена; мякоть лилий,
Подернутая серебром;

Холодный мрамор, чьи глубины
Богинями населены;
Опал, что зыбкой сердцевиной
Из млечной брезжит пелены;

Слоновая ли кость резная,
Что пальцы беглые зовет
Кружиться мотыльковой стаей
Над лепетаньем хрупких нот;

Пушок ли горностая чистый,
Чья белизна влечется лечь
Герба глазурью серебристой
Или покровом зябких плеч?

Что? Ртутной наледи узоры,
В окне сплетенные венком;
Резьба фонтанных чаш, в которой
Ундины слезы узнаем,

Или боярышник, застылый
В цветочном инее весной,
И алебастр, унынью милый
Своей бескровной белизной?

Что? Голубиный пух над крышей
Усадебного флигелька
Иль сталактит, слезой нависший
И камнем ставший на века?

За Серафитою летела
Она от скандинавских скал?
Мороз ли этот призрак белый —
Мадонну снега изваял,

Что, замеченная лавиной,
Простор полярный стережет,
Как сфинкс, храня в груди невинной
Загадок потаенный лед?

Кто в это сердце пыл заронит,
Проточит снега пелену
И розовым волненьем тронет
Бестрепетную белизну?

Перевод Б. Дубина

ПОСМЕРТНОЕ КОКЕТСТВО

Ты, что в дубовый гроб навеки
Меня положишь, — не забудь
Мне черной тушью тронуть веки,
А щеки — розовым, чуть-чуть.

Тогда под крышкой гробовой
До Судного останусь дня
Румяной, ясноглазой, тою,
Какой он полюбил меня.

Убора смертного не надо!
Не савана льняного лед —
Муслина белого прохлада
Пусть гибкий стан мой обовьет...

Наряд мой тем мне свят и дорог,
Что в нем его пленила взор...
О, платье в дюжину оборок,
Я не ношу тебя с тех пор!

Не надо мне в страну иную
Ни мишуры, ни блеклых роз...
Хочу подушку кружевную
Под русский водопад волос —

Она несла свой груз веселый
Все наши ночи напролет,
Под кровом траурным гондолы
Вела безумствам нашим счет...

Хочу перстами восковыми —
На ложе, с коего не встать, —
Нить четок, освященных в Риме,
К недышащей груди прижать...

Перебирать их не устану,
Испив последнюю из чаш,
Чтоб помнить уст его Осанну
И поцелуев "Отче наш".

Перевод А. Эфрон

АЛМАЗ СЕРДЦА

На сердце иль в столе запрятан
У каждого любви залог,
К груди не раз бывал прижат он
И в дни надежд, и в дни тревог.

Один, мечте своей покорный,
Улыбкой ободрен живой,
Похитил дерзко локон черный,
Хранящий отсвет голубой.

Другой на белоснежной шее
Отрезал шелковую прядь,
Которой тоньше и нежнее
С кокона невозможно снять.

На дне шкатулки прячет третий
Перчатку с маленькой руки,
Тоскуя, что ему не встретить
Второй, чьи пальцы так тонки.

Вот этот — призрак счастья жалкий
Стремится воскресить в душе,
Вдыхая пармские фиалки,
Давно зашитые в саше.

А тот целует Сандрильоны
Миниатюрный башмачок,
Меж тем как в маске благовонной
Влюбленный ловит очерк щек.

Но у меня нет ни перчаток,
Ни туфельки, ни пряди нет:
Я на бумаге отпечаток
Слезы храню, волненья след.

Жемчужиною драгоценной
Из синих выскользнув очей,
Она растаяла мгновенно,
Упав в сосуд любви моей.

И эта капля чистой влаги,
Алмаз, каких не знал Офир,
Пятном расплывшись на бумаге,
Мне заслоняет целый мир,

Затем, что дар судьбы неожиданный,
Из глаз, до той поры сухих,
Скатясь росой благоуханной,
Она отметила мой стих.

Перевод Б. Лившица

В часы надежд или печали
Кто из влюбленных не берег —
В ларце иль в золотом овале —
Любимой женщины залог?

Тот взял когда-то в миг счастливый,
Улыбки чувствуя тепло,
Прядь черных кос — с густым отливом,
Как сойки синее крыло.

Другой тихонько срезал локон
У белой шеи, в кружевах, —
Он нежен, словно шелк, что кокон
Хранит в тончайших завитках.

В шкатулке третьего — перчатка,
И так узка ее ладонь...
Перчатки той, хотя б украдкой,
Рукою дерзкою не тронь!

У тех — саше в инициалах,
И в нем — былой весны намек:
Среди мешочков ярко-алых
Фиалки пармской лепесток.

Тому, как принцу в старой сказке,
Мил Сандрильоны башмачок;
А тот хранит на черной маске
Унылый вздох и запах щек.

Нет у меня цветов, перчаток,
Ни туфель женских, ни волос —
Слезы единой отпечаток
Сберечь в тетради удалось.

Росинкой, каплею мгновенной
С небес лазурных (как давно!)
Она упала, перл бесценный,
В любовный кубок мой на дно.

Сияет, как алмаз Офира,
Как звезд рассветных чистый свет,
Брильянт, рожденный от сапфира, —
Слезы едва приметный след.

Она была немым ответом
На сердцем спрятанный вопрос,
Упав на лист с моим сонетом
Из глаз, не знавших раньше слез.

Перевод М. Касаткина

ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ

Пока, рабы холодной прозы,
Лишь ею мы удручены,
Апрель, смеющийся сквозь слезы,
Готовит нам возврат весны.

Пока мы все, спеша без толку,
Свершаем столько лишних дел —
Для маргариток втихомолку
Наряды сделать он успел.

В ночи, невидим и неслышен,
Предвестник солнца и тепла,
Идет он в сад — верхушки вишен
Спеша напудрить добела...

Весны-волшебницы законы
Предупреждая, он чуть свет
Шнурует алых роз бутоны
В светло-зеленый их корсет.

Природа нежится в постели,
А он, бродя среди лесов,
Дроздам насвистывает трели
И сыплет пригоршни цветов...

В траве, где ключ журчит игриво,
Фиалок синих лепестки
Он рассыпает прихотливо —
И колокольчиков звонки.

И, по долинам расстилая
Узор цветочного ковра,
Подходит он к порогу мая
И говорит ему: — Пора!

Перевод О. Чюминой

ПЕРВАЯ УЛЫБКА ВЕСНЫ

Пока заботой повседневной
Мы заняты и смущены,
Смеясь под ливнем, Март безгневный
Готовит таинства весны.

Выходит на лужок зеленый
И, притаясь, когда всё спит,
Подснежников белит бутоны
И одуванчики желтит.

На все затеи пудры белой
Ему, проказнику, не жаль:
То яблоню осыплет смело,
То в иней уберет миндаль.

Природа спит, дыша устало,
Под долгий, скучный шум дождей,
А он, смеясь, на одеяло
Бутоны роз бросает ей!

Вбегая в лес гостеприимный,
Фиалки сеет он, а сам
Насвистывает тихо гимны,
Подсказывая их дроздам.

Он у ключа, где пьют олени, —
Пугливо дали оглядев, —
Выращивает, чуждый лени,
Прозрачных ландышей посев.

И меж ползучей повилики
Сажает пышные кусты
Лесной, пахучей земляники,
Чтоб летом веселилась ты!

И, видя, что в лесу и в поле
Его работа свершена,
Без ропота, покорный доле,
Он шепчет: "Приходи, весна!"

Перевод В. Брюсова

ПЕРВАЯ УЛЫБКА ВЕСНЫ

Пока, гонясь за пустяками,
Не чуют люди новизну,
Март-выдумщик, смеясь над нами,
Готовит исподволь весну.

Везде поспеет, все уладит:
Для маргариток-недотрог
Воротнички он ловко гладит
И пуговки чеканит впрок.

Гример усердный и умелый,
В поля спешит он и в сады —
Припудрить кисточкою белой
Миндальных деревцев ряды.

Еще в постели безмятежной
Природа спит, а он чуть свет
Примеривает розе нежной
Зеленый бархатный корсет.

И снова, словно бы без цели,
По рощам бродит, баламут,
Дроздам насвистывает трели,
Фиалки сеет там и тут.

У родника, где пьет с опаской
Олень, насторожен и тих,
Он серебрит тончайшей краской
Головки ландышей лесных.

Среди травы, в тени укромной
Припрячет ягод про запас,
Сплетет из листьев полог темный,
Чтоб уберечь от солнца нас.

И вот, когда пора в дорогу
И все завершено сполна,
Он говорит, идя к порогу:
Ты можешь приходить, весна!

Перевод Г. Кружкова

RONDALLA

Дитя с повадками царицы,
Чей кроткий взор сулит беду,
Ты можешь сколько хочешь злиться,
Но я отсюда не уйду!

Я встану под твоим балконом,
Струну тревожа за струной,
Чтоб вспыхнул за стеклом оконным
Ланит и лампы свет двойной.

Пусть лучше для своих прогулок
И менестрель и паладин
Другой отыщут переулок:
Здесь я пою тебе один,

И здесь ушей оставит пару
Любой, кто, мой презрев совет,
Испробует свою гитару
Иль прочирикает сонет.

Кинжал подрагивает в ножнах;
А ну, кто краске алой рад?
Она оттенков всевозможных:
Кому рубин? кому гранат?

Кто хочет запонки? Кто — бусы?
Чья кровь соскучилась в груди?
Гром грянул! Разбегайтесь, тусы!
Кто похрабрее — выходи!

Вперед, не знающие страха!
Всех по заслугам угощу!
В иную веру вертопраха
Клинком своим перекрещу.

И нос укорочу любому
Из неумных волокит,
Стремящихся пробиться к дому,
В который мною путь закрыт.

Из ребер их, тебе во славу,
Мост за ночь возвести бы мог,
Чтоб, прыгая через канаву,
Ты не забрызгала чулок...

Готов, с нечистым на дуэли
Сразившись, — голову сложить,
Чтоб простыню с твоей постели
Себе на саван заслужить...

Глухая дверь! Окно слепое!
Жестокая, подай мне знак!
Давно уж не пою, а вою,
Окрестных всполошив собак...

Хотя бы гвоздь в заветной дверце
Торчал, чтоб на него со зла
Повесить пламенное сердце,
Которым ты пренебрегла!

Перевод А. Эфрон

RONDALLA

Моя голубка и орлица,
Моя царица и дитя,
Я снова здесь — ты можешь злиться! —
Я взял гитару не шутя.

На тумбу став ногой упрямой,
Хотя б всю ночь я проторчу,
Чтоб увидеть за темной рамой
Твой профиль и твою свечу.

Здесь не играть другим гитарам,
Здесь я играю, я пою,
И переулочек — мой! Недаром
Я славлю здесь любовь мою.

Терпеть соперника не стану,
Пусть вон идет, куда цел!
Отрежу уши горлопану,
Какую песню б он ни спел.

В ножнах мой нож, он жаждет воли.
Сюда! Кто ценит красный цвет?
Кто любит пурпур на камзоле?
Кому гранатовый браслет?

Да, крови в жилах стыть обидно,
Милее быть ей на виду.
Но будет дождь, ни зги не видно.
Эй, трусы! Где ж вы все? Я жду!

Сюда, бойцы, сюда, рубаки!
Плащ на кулак! Закройте бок!
Пускай вам памятные знаки
На рожи ставит мой клинок!

Хоть одного, хоть всю ораву —
Я жду, и с места ни на шаг!
Я обрублю тебе во славу
Носы напудренных вояк!

Тебе ручей пресек дорогу?
Так ножку в нем не замочи.
Я мост сложу — клянусь в том богу! —
Из ребер этой саранчи.

Сама бы смерть не отпугнула
Мою любовь. Хоть слово кинь —
Я нападугу на Вельзевула
За саван из твоих простынь.

Окно слепое! Дверь глухая!
Должна же ты мой слышать крик!
Так на арене, издыхая,
Ревет и псов бодает бык.

Хотя бы в дверь ты гвоздь забила —
Я б сердце им пронзил давно.
Ах, это сердце так любило,
На что мне мертвое оно!

Перевод В. Левика

НОСТАЛЬГИЯ ОБЕЛИСКОВ

ПАРИЖСКИЙ ОБЕЛИСК

Я — обелиск, отъят от брата,
Меня преследует тоска,
Бичи дождей, удары града
Изъязвили мои бока.

В горниле огненной пустыни
Был старый шпиль мой накален,
Но здесь, под небом, чуждым сини,
Поблек от ностальгии он.

Зачем средь сумрачных колоссов,
Которыми велик Луксор,
Близ брата, что от солнца розов,
Не остаюсь я до сих пор,

Вонзая шпиль неукротимо
В лазурь, недвижимую в веках,
Своею тенью ход светила
Записывая на песках?!

Рамзес, гранит мой величавый
Кирку столетий притупил,
Но я Парижу стал забавой,
Я на потеху отдан был.

Величья воин непреклонный,
Гранитный страж, презревший тлен,
Стою между дворцом Бурбона
И лжеклассической Мадлен.

Груз тайны, груз гранитной плоти —
Тысячелетия мои
Воздвигнуты на эшафоте
Кумира павшего — Луи.

Здесь воробьев крикливых стаи
Бесчестят острие иглы,
Где прежде перьями блистали
Золотоклювые орлы.

И Сена, сточная канава,
Грязнит, поганит пьедестал,
Который прежде, в годы славы,
Нил благодатный целовал,

Нил, вод отец, даритель ила,
Венчанный лотосом, седой,
Не пескаря, а крокодила
Выплескивающий с водой.

Я помню золотые краски
Тех колесниц далеких дней —
И громыхание коляски
Последнего из королей.

Жрецы в своих тиарах жарких
Передо мной склонялись ниц,
Ведя мистические барки
Со знаками жуков и птиц.

Теперь я сторож при фонтанах,
Где властвует мирская грязь,
Смотрю, как мчатся в шарабанах
Кокотки, нагло развалиясь,

Как буржуа самовлюбленно
Красуются весь год подряд:
В палату шествуют Солоны,
Вершат Артуры променад.

О, сколько нечисти в гробницах
Накопит за сто грешных лет
Народ, который в прах ложится
Без погребальных узких лент!

Им нет спасения от гнили,
Не ждет людей подземный грот,
Чтоб в нем достойно хоронили
Из века в век за родом род.

О, край, где спят иероглифы,
Где ястреб на гнезде притих,
Где сфинксы когти, словно грифы,
Острых на цоколях своих,

Где тайна предков не избыта,
Где под ногою склеп звенит...
Я вспоминаю свет Египта —
И плачет, плачет мой гранит!

Перевод Ю. Даниэля

ЛУКСОРСКИЙ ОБЕЛИСК

Отрывок

Приставлен, сторож одинокий,
К опустошенному дворцу,
Дремлю я, обелиск высокий,
Пред вечностью — лицом к лицу.

Под солнечным жестоким взором,
Бесплодный и немой песок,
По неоглядным кругозорам
Свой желтый саван приволок.

Над обнаженною пустыней
Другой пустыни глубина,
Как купол беспощадно синий,
Висит, всегда обнажена.

Исполнен тягостной дремоты,
Палим лучом отвесным, Нил,

Где тяжело дышат бегемоты,
Свинцовым зеркалом застыл.

Прожорливые крокодилы,
На зное растянувшись в ряд,
Подняться не имея силы,
Полусваренные хрипят.

Как будто разбирая что-то,
Стоит на тоненькой ноге
Пред надписью священной Тота
Недвижный ибис вдалеке.

Гиена плачет и смеется;
Шакал мяучит; надо мной
С протяжным писком ястреб вьется —
В лазури — черной запятой.

Но эти возгласы покрыты
Зевотой сфинкса, что устал —
Среди глухих пустынь забытый —
Давить свой вечный пьедестал.

Дитя земли, всегда палимой,
И белых отблесков песка, —
Ни с чем, ни с чем ты несравнима,
Востока жгучая тоска!

.....

Перевод В. Брюсова

ЛУКСОРСКИЙ ОБЕЛИСК

Пред этим храмом опустелым
Стою я, древний часовой, —
Один, как перст, на свете целом,
Забытый в смуте вековой.

До горизонта без границы,
В дали бесплодной и немой
Пустыня желтая искрится,
Развертывая саван свой.

И небосвод недвижно-синий,
Лазурью вечною пыля,
Еще одной простерт пустыней —
Такой же скудной, как земля.

Подернут пленкою свинцовой,
Нил светится, и бегемот,
Ныряя, тушей стопудовой
Морщинит гладь угрюмых вод.

В песке, на солнце раскаленном,
Проводят крокодилы дни,
И в обморок порой со стоном,
Измучась, падают они.

В жабо упрятав клюв свой длинный,
На древней стеле дотемна
Разгадывает ибис чинный
Времен минувших письмена.

Шакал завоет, засмеется
Гиена где-то в стороне,
И с хриплым писком ястреб вьется
Кругами в ясной вышине.

Но громче всех в глуши пустынной
Зевают сфинксы — его томит
Один и тот же вид старинный,
От века неизменный вид.

Вскормленный вечною жарою
И блеском выжженных равнин,
С какой тебя сравнить хандрою,
Востока величавый Сплин!

Ты исторгаешь крик: "Помилуй!"
Близ этих сумрачных колонн
Твоей неодолимой силой
И зверь и камень побежден.

Но ни слезинки не скатится
Из глаз бесчувственных небес,
На молчаливые гробницы
Тысячелетий давит вес.

Ничто не возмутит покоя
Твоих, Египет, стен и скал.
Увы! могущество какое
На неподвижность ты сменял!

Нет скуки горше и угрюмей,
Она подступится опять —
Но, кроме обветшалых мумий,
Здесь друга даже не сыскать!

Я вижу столб, что вбок клонится,
Облупленный годами фриз,
И белых лодок вереницы
Скользят по Нилу вверх и вниз.

Ах, если бы в Париж прекрасный
Перенестись я к брату мог,
Где, славой окружен всечасной,
Стоит он, строен и высок!

Толпятся перед ним зеваки
И разбирают по складам
Иератические знаки,
Рубцы, созвучные мечтам.

И влага шумная фонтанов,
На пыльный залетев гранит,
Волною радужных туманов
Его вершину золотит!

Одной скалы мы порождение,
И вырубили нас равно,
Но вечный мой удел — забвенье,
Он жив — я мертв уже давно!

Перевод Г. Кружкова

ВETERАНЫ СТАРОЙ ГВАРДИИ

15 декабря

Гонимый скукой безысходной,
Бульваром долго я бродил;
Декабрьский ветер дул холодный,
И дождь унылый моросил.

И я увидел за туманом,
Как, неожиданно являсь,
Средь бела дня парадом странным
Шли призраки сквозь дождь и грязь.

Позвольте! Но по всем законам
Лишь ночью, при лучах луны
В немецком замке отдаленном
Являться призраки должны.

Есть ночь, когда средь белых лилий
Заводят эльфы хоровод
И кружат, бледны от усилий,
В мерцанье серебристых вод.

Есть ночь, когда бы мог случиться
Баллады Цедлица парад,
В котором тени Аустерлица
На зов сигнальщика спешат.

Но призраки — посередине
Монмартра, въявь, на мостовой,

Промокшие, в грязи и глине,
Без всякой дымки голубой!

С зубами, желтыми от гари,
С могильным мхом на черепках, —
Вот здесь, в Париже, на бульваре,
От Варьете в пяти шагах!

Да, стоит поглядеть, пожалуй!
Там — старых три гусара в ряд,
За ними — гренадер бывалый,
Служака с головы до пят.

Как будто с литографий взяты,
За батальоном батальон,
Проходят мертвые солдаты,
Идут, крича: "Наполеон!"

Не те ночные истуканы,
Не роковые мертвецы —
Нет, это *Старой* ветераны,
Великой гвардии бойцы.

Поди узнай бывшего хвата!
Тот растолстел, другой стал худ,
Мундиры, сшитые когда-то,
То широки теперь, то жмут.

О благородные отрепья,
Героев шутовской наряд,
В чудном своем великолепье
Святей вы мантий во сто крат!

Дрожат облезлые султаны
На хищных шапках меховых;
Моль источила доломаны
Вблизи пробоин пулевых;

На том — наморщились лосины,
И весь он, как скелет, на вид,
И по дороге сабли длинной
Железо ржавое гремит;

А то — чрезмерное дородство,
Жестоко подшутив над ним,
Герою добавляет сходство
С каким-то увальнем смешным.

Нет! Шляпу снять пред ними надо!
Славней Гомеровых поэм
Ахиллы новой "Илиады",
Не сочиненные никем.

Взгляни, как белы их седины,
Как солнцем выжжено чело,
Где продолжает шрам старинный
Черту, что время провело.

Знай: эти лица почернели
В Египте, среди песков сухих,
То снегом русские метели
Запорошили пряди их.

В походах ветры полумира
Насквозь им продували грудь.
Хромают? Значит, от Каира
Не близок был на Вильну путь.

Им ведом гром страды военной,
Ночевок скудное тепло.
Руки нет? Что ж, обыкновенно!
Ее ядром оторвало.

Нам, как мальчишкам, не пристало
Смеяться этим людям вслед —
Их солнце полдня освещало,
А нас — вечерний тусклый свет.

Трудна посмертная дорога,
Но верен до конца маршрут.
Алтарь единственного бога
Они на свете признают.

А сколько дней невзгоды черной,
Ран, и страданий, и обид!
Но сердце Франции упорно
Под их лохмотьями стучит.

О, этот маскарад священный!
С улыбкой слезы он смешал,
Как утро бала, вдохновенный,
Могущественный карнавал!

И, взмыв под небо величаво,
Военный золотой орел
Над ними блещущие славой
Крыла громадные развел!

Перевод Г. Кружкова

ПЕЧАЛЬ В МОРЕ

Играют чайки, пролетая,
И волн морские скакуны
Несутся, на дыбы вставая,
Каскадом брызг окружены.

Смеркается. Над океаном
Дождь моросит, неутомим.
И черным стелется султаном
За пароходом плотный дым.

И небо бледное нависло,
От копоти глаза слезит...
Ну что же? — для самоубийства
Прекрасный час, прекрасный вид.

И тает страсть, и память тонет
В пучине горькой без следа.
Кораблик пляшет, ветер стонет,
Кружится темная вода.

Так прочь! вперед! душа устала
От вечных мук, от скучных вех
Любви, сошедшей с пьедестала, —
От всех надежд, иллюзий всех!

Там, в море, пусть меня оставят
Страданья прошлые и вновь
Рубцов заживших не надавят,
Чтоб снова выступила кровь!

Там, в море, бледные прищельцы,
Вы, призраки минувших дней,
Пронзенные мечами в сердце,
Подобно Матери скорбей,

Видения, что лишь мгновенье
Иль два над бездною скользят,
Пока валы без сожаленья
Их, оглушив, не поглотят,

Балласт души, груз драгоценный,
Мой бедный груз! — иди ко дну!
Там, в этой мгле благословенной,
И я с тобою отдохну.

Неузнаваемый, распухший,
Волною зыблем в тишине...
В сыром песке, как на подушке,
Так спать покойно будет мне!

Но женщина в накидке тонкой
На палубе, при склоне дня,
С отвагою полуребенка
Глаза поднимет на меня.

Прелестные и молодые,
Где вызов есть и глубина, —
Привет вам, взоры голубые!
Прощай, зеленая волна!

Играют чайки, пролетая,
И волн морские скакуны
Несутся, на дыбы вставая,
Каскадом брызг окружены.

Перевод Г. Кружкова

СВЕТ БЕСПОЩАДЕН...

Свет беспощаден, дорогая,
К тебе — среди его клевет
Есть та, что ты живешь, скрывая
В груди не сердце, а брегет.

Меж тем, как вал морской высокий,
Она вздымается, и в ней
Бурлят таинственные соки
Прелестной юности твоей...

Свет беспощаден, дорогая,
К глазам твоим, шепча, что в них
Сверкает не лазурь живая,
А лак игрушек заводных.

Меж тем все зори, все зарницы,
Все отблески сердечных гроз
Таят дремучие ресницы
В мерцающей завесе слез...

Свет беспощаден, дорогая,
Твердя, что ум твой глухонем,
Что ты, как в грамоту Китая,
Вникаешь в смысл моих поэм.

Меж тем ты слушаешь поэта
С улыбкой тонкой — неспроста
Разборчивая пчелка эта
Садится на твои уста!

Меня ты любишь, дорогая,
Вот в чем причина клеветы!
Покинь меня — вся эта стая
Найдет, что совершенство ты!

Перевод А. Эфрон

ИНЕС ДЕ ЛАС СЬЕРРАС

Посвящается Петре Камарра

Вблизи испанского селенья
Три офицера в поздний час
Случайно забрели в имение —
Есть у Нодье такой рассказ.

Рэдклиффов замок! Там дугою
Прогнулся свод под грузом лет;
На стеклах, словно кистью Гойи,
Нетопырей прочерчен след;

Мелькнет в покоях обветшалых
Обрушенной стены провал;
Сам Пиранези в этих залах
Не скоро б выход отыскал.

Их скромный ужин наблюдали
Портреты предков со стены;
Вдруг чей-то крик раздался в зале —
И пришлецы потрясены,

И к ним из глубы коридорной,
Где полосами лунный свет
Чередовался с тенью черной,
Метнулся стройный силуэт.

Танцуя, женщина вбегает —
Высокий гребень в волосах;
Во мраке тает, исчезает,
Мелькает в лунных полосах;

В истоме голову склонила,
Нездешним пламенем полна, —
И неожиданно застыла,
Неотразима и страшна.

Изъеден гнилью гробовою,
Полуистлел ее наряд,
И на лохмотьях под луною
Светло соломинки горят.

И вновь она меняет позы,
И ритм чеканят каблучки,
И на висках сухие розы,
Шурша, роняют лепестки.

На горле виден шрам, похожий
На след кинжала, — узкий след,
И, оттененный бледной кожей,
Горит рубца кровавый цвет.

И руки тонкие воздеты,
И гости в ужасе молчат;
Пощелкивают кастаньеты —
Так зубы с холоду стучат.

Танцует хмурая вакханка
Качучу на старинный лад;
Так обольстительна испанка,
Что с ней не страшен даже ад.

И, словно крылья черной птицы,
Ресницы бьются, и такой

Гримасой рот ее змеится,
Что затоскует и святой.

И мчится, юбки развевая,
В кипенье пены кружевной
Две стройных ножки открывая,
Сверкающие белизной.

Она кольцом свой стан свивает
И, тонкие разжав персты,
Простым движением срывает
Сердца мужские, как цветы.

То женщина иль наважденье,
Действительность или мечта —
Смерча и пламени круженье,
Пожар, чье имя — красота?

Нет, это странное создание —
Испания былых времен,
Под бубна звон и содроганье
Из погребальных встав пелен,

Воскресла, бледная химера,
В непревзойденном болеро:
На ножке лента — дар *тореро*,
По юбке вьется серебро;

И шрам ее — след искупленья:
То новый век, сплеча рубя,
Приканчивает поколенье,
Дотла изжившее себя.

Я видел этот призрак мрачный,
Ему Париж рукоплескал,
Когда, одета в газ прозрачный,
Явилась Петра в людный зал, —

В бесстрастно-страстном исступленье,
Как некогда Инес, она
Плясала смертное томленье,
Кинжалом в сердце пронзена.

Перевод М. Квятковской

АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ КОРОТКАЯ ОДА

Будь мудр с моей любовью хрупкой,
Смири неистовство свое,
В зенит стыдливости голубкой
Не вынуждай взмывать ее.

С тропинки вспархивает птица,
Чуть дрогнут листья деревца,
Крылатая страсть — она стремится
Взлететь и скрыться от ловца.

Сядь потихоньку у беседки,
Немой, как мраморный Гермес,
И птица вдруг сорвется с ветки,
Порхнет к тебе, покинув лес.

В твои виски пахнет прохладой,
И ты увидишь у перил
Сверканье белизны пернатой
И трепет и биенье крыл.

И птица томно и устало
Притихнет на плече, и вслед
Клюв прикоснется бледно-алый
К твоим губам, о мой поэт.

Перевод Ю. Даниэля

ДЫМ

Там, похожая на горбуна,
Скрыта хижина темной листвою;
Кровля съехала; ветха стена;
Зарастают ступени травой.

Глухи ставни; и кажется пуст
Старый дом, но, как в холоде зим
Дуновения дышащих уст,
Голубеет дыханье над ним.

Это штопором дым завитой
Тонкой нитью вращает струю —
Так душа той лачуги слепой
Богу весть посылает свою.

Перевод А. Наль

АПОЛЛОНИЯ

Твое мне имя драгоценно:
Долины греческой земли
Тебя, в гармонии священной,
Сестрою бога нарекли;

И, как Эллада, величаво,
Кифары звук оно хранит,
Пленяет, как любовь и слава,
И бронзой гулкою звенит;

Смятение рождает в эльфах —
В озера прячутся они;
Лишь Пифия в далеких Дельфах
Такому имени сродни,

Когда таинственная жрица
Вещать к треножнику идет,
Одежды приподняв, садится
И бога медлящего ждет.

Перевод Ю. Даниэля

СЛЕПОЙ

Слепец у тумбы придорожной
Насупился, как сыч на свет.
Он путает лады безбожно,
Ощупывая флажолет,

И водевильные мотивы
Высвистывает, а потом
От дома к дому терпеливо
Бредет за псом-поводырем.

И жизнь проходит стороною,
Доносится издалека,
Как смутный рокот за стеною
Невидимого ручейка.

Что чудится ему во мраке,
И мысль, которой не прочесть,
Какие оставляет знаки
Под сводом черепа — бог весть...

Вот так в Венеции томится
Безумный узник; ночь длинна,
А он скребет гвоздем в темнице
Неведомые письмена.

Но, может быть, сойдя к покою,
Душа его, за годом год
Со здешней свыкшись темнотою,
В могиле зренье обретет!

Перевод Б. Дубина

Заслыша жаворонка трели
Весною, в предрассветный час,
Земля стыдливо ждет Апреля,
Сияя блеском детских глаз.

А летом, скрыть не в силах жара
Желаний тайных на губах,
С Июнем, смуглым от загара,
Таится в зреющих хлебах.

Средь пестрых шкур вакханкой пьяной
Зовет Сентябрь к груди припасть
И виноградной влаги рдяной
Дает ему напиться всласть.

Зимою — дряхлою старухой,
Морщины снегом серебра,
Сквозь сон минувшим бредит глухо
Под храп супруга-Декабря.

Перевод М. Касаткина

ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ

I

С усмешкой невеселой
На много разных тонов
Зима играет соло
В квартете всех сезонов.

От стужи посинело
Лицо ее и руки,
И старчески несмело
Порою льются звуки.

Пред льдиною, служащей
Ей вместо партитуры,
Она рукой дрожащей
Выводит фиоритуры.

И в такт им головою
Седой она качает,
И пудрой снеговою
Деревья осыпает.

II

На всех деревьях парка —
Серебряные сетки;
Их изморозью ярко
Заискрились ветки.

Кусты горят в алмазах,
И небо — темно-сине,
А в опустевших вазах
Цветами блещет иней.

Бледней — лучи денницы,
Ночами — ярче звезды,
И зябнущие птицы
Попрытались в гнезды.

III

На дамах туалеты
С опушкой меховою,
И статуи одеты
Пушистой пеленою.

Ротондою Диана
Смущает наши взоры,

И видеть как-то странно
Боа на шее Флоры.

И силою примера,
Ей ставшего законом,
Красуется Венера
В накидке с капюшоном.

Все мраморные боги,
Должно быть, очень зябки:
Меркурий быстроногий —
И тот в косматой шапке...

IV

Спеша в приют укромный,
Где ждут любовь и нега,
Предательского снега
Болтливости нескромной

Боишься ты? Еще бы!
Ведь след от ножки узкой,
Бесспорно андалузской,
Хранят везде сугробы.

Что, если бы нескромной
Смущаемый догадкой,
Проникнул муж украдкой
В приют любви укромный,

Где ласкою своею
И пламенем лобзаний
Согрел в часы свиданий
Амур — свою Психею?..

Перевод О. Чюминой

ПРИЧУДЫ ЗИМЫ

I

Белей снегов, алей пионов —
Нос красен, щечки, словно лед, —
Вошла зима в квартет сезонов —
Теперь настал ее черед!

Сосулькой взмахивает длинной,
Ногой притопывает в лад
И тянет свой напев старинный,
Как и столетия назад.

Она поет не без запинки
Дрожащим голоском сверчка,
И осыпаются снежинки
С напудренного паричка.

II

В застывшем зеркале бассейна
Не плавать лебедям Тюильри!
Наряд накинули кисейный
Кусты, деревья, фонари,

Цветет на каждой ветке иней,
А в кадках — розы из слюды,
Вокруг бегут цепочкой синей
Пичужек звездные следы,

Венера зябнет в снежной шали,
Столь непохожая на ту,
Что здесь, на том же пьедестале,
Свою являла наготу...

III

Проходят милых женщин стаи
В обличье северных княгинь,
И те ж песцы и горностаи
На мраморных плечах богинь...

Дианы, Флоры, Афродиты,
В предвиденье сердитых вьюг,
С ногами шубами укрыты
И прячут в муфты кисти рук...

А нынешние изваянья —
Пастушки в позах балерин —
Спешат на легкость одеяний
Накинуть бархат пелерин...

IV

Как Скиф, похитивший гречанку,
Так Север, дерзкий бедокур,
Укутал моду-парижанку
В растрепанность звериных шкур

И к прихотливости уборов,
К неповторимости обнов
Добавил, свой являя нор,ов,
Всю роскошь русскую мехов.

Амур в алькове откровенно
Ликует, глядя шубы ворс,
Из коей, как из бездны пенной,
Венеры возникает торс...

V

Страшись нетоптанных дорожек,
Владычица услад и нег!

Следы твоих нездешних ножек
Любовно примет свежий снег...

Пусть на лице — вуали сетка,
Но как тебя не опознать,
Когда твой каждый шаг — отметка,
Расписка, вензель и печать?

По ним, от ревности бледнея,
Иной супруг узнает путь,
Которым шла его Психея,
Чтоб не к нему упасть на грудь!

Перевод А. Эфрон

РУЧЕЙ

Близ озера смело и звонко
Журчащий у влажных камней,
В траве пробегает сторонкой,
Пробившись на волю, ручей.

Он шепчет: — Как тесно мне было
В безрадостных недрах земли,
Где солнце во тьме не светило
И где берега не цвели!

А здесь и древесные своды,
И купол небес голубой
Мои серебристые воды
Весь день отражают собой.

Кто знает? В течение далеком,
Разлившись свободной волной,
Быть может, я стану потоком,
Могучей и вольной рекой?

И скоро, быть может, я стану,
Томившийся в недрах земли,
На лоне своем океану
Большие носить корабли! —

Так шепчет в тенистой дубраве,
Журча у высоких камней,
Отважно стремящийся к славе,
Наивный и юный ручей.

Но, еле добившись свободы,
Он гибнет, не ставши рекой:
Соседнего озера воды
Его поглощают собой...

Перевод О. Чюминой

РОДНИК

Родник над озером струится.
Вскипая, кверху бьет вода,
Как будто хочет устремиться
И течь неведомо куда.

Родник журчит: во тьме расселин
Я никогда не видел дня.
Как светел мир! Как берег зелен!
Как небо смотрится в меня!

Там незабудка голубая
Воскликнет: помни обо мне!
Там стрекоза, крыло купая,
Как будто пляшет на волне.

Там пьет мой ток прохладный птица.
Как знать! Быть может, сил набрав,
Мне суждено рекой катиться
Меж гор, и замков, и дубрав.

Быть может, я широким стану
И корабли приму в свой бег,
Стремясь к большому океану,
Где все сливается навек.

Так юный ключ бежит с обрыва,
И, смелым замыслом горда,
Вступая в жизнь, нетерпеливо
Кипит и пенится вода.

Но колыбель — сестра гробницы,
Колосс умрет, пока он мал.
Родник сумел на свет пробиться,
Но в темном озере пропал.

Перевод В. Левика

КОСТРЫ И МОГИЛЫ

Был скрыт скелет, был чужд искусству,
Душе языческой немил,
И человек вверялся чувству
И лишь прекрасное хранил.

Под тяжким мрамором надгробья
Не тшилось камень расколоть
Любимых жуткое подобье,
С себя снимающее плоть;

И в перекопанной могиле,
Страша непрошенных гостей,
Отважный взор не леденили
Стропила тлеющих костей.

Похищен у костра для дома,
Широкобедрой урны гость,
Лежал почти что невесома
Остаток жизни — пепла горсть.

А много ли пылицы оставит
Души сгоревший мотылек?
Когда огонь пылать устанет —
Лишь над треножником дымок...

Зеленый лавр венчал останки,
Цветы ликующе цвели,
Смеясь, амуры и вакханки
По мрамору надгробья шли.

И лишь малютка-гений грустно
Свой факел, наклоня, гасил.
Струило медленно искусство
Гармонию на скорбь могил.

Как видом спящего ребенка,
Гробницей каждый был пленен,
Ласкалась жизнь, смеялась звонко,
Окутывая смертный сон.

А смерть лицо свое скрывала —
Курносый нос, глазниц провал
И смех, что мерзостью оскала
Химер гримасы затмевал.

Пугающий фантом могилы
Под плотью был неразличим,
И девственницы взор манило
К эфебам, смутлым и нагим.

Лишь на пиру Тримальхиона,
Чтоб не иссяк хмельной родник,
Игрушка-ларва неуклонно
Свой костяной являла лик.

Искусством чтимый небожитель
Нектар на тверди неба пил...
Но уступил Христу Юпитер,
Олимп Голгофе уступил.

”Пан умер!” — голоса звучали;
Упала тень, и ей вослед
На черной, траурной печали
Белесый движется скелет.

Он вешает по стенам боем
Гирлянды — четки-позвонки,
Крестом костей клеймит, спокоен,
Могилы, саваны, венки.

Оскалив пасть, смеясь недобро,
Покров срывает гробовой,
Рукой костлявой чертит ребра
И череп оголенный свой.

Он повергает в прах титана,
На вздыбленном коне крутятся,
И в пляске смерти кружат рьяно
И папа, и король, и князь.

У сладострастного алькова
Он корчит рожи в зеркалах,
Он пьет лекарство у больного,
У скряги роется в столах.

Строптивую упряжку колет
Он костью, властен и суров, —
И борозда, и плуг, и кони,
И пахарь канут в черный ров.

Внезапный гость, незванный, мрачный,
Садясь с пирующей семьей,
Крадет у бледной новобрачной
Ее подвязку под скамьей.

Все больше призрачная банда,
В ней стар и млад — рука с рукой,
И дьявольская сарабанда
Все движет, движет род людской.

И вожакom в потоке этом —
Скрипач костлявый, злой фантом,
Его на черном белым цветом
Гольбейн чертил сухим штрихом.

Он верен смене мод капризных,
И, как балетный Купидон,
Парит, задравши саван, призрак,
Фривольному столетью в тон.

Изысканна софа-гробница,
В капеллах бархат и атлас,
Маркизам томным сладко спится,
Уставшим от любовных ласк...

Лети же прочь, личина гнили,
Без щек червивый лицедей,
Ведь мелодраму Смерти длили
Безмерно долго для людей!

О мир античный, дивным гостем
Приди! И мраморным шатром
Прикрой готические кости,
Пожри их яростным костром!

И если мы лишь ряд подобий
Всевышнего — то за чертой
Осколками разбитых копий
Насытим пламень золотой.

Ты, форма вечная, упрямо
Вернись к истокам красоты,
Чтоб глина тел не знала срама,
Могильных мук не знала ты!

Перевод Ю. Даниэля

УЖИН ДОСПЕХОВ

Бьёрн, угрюмый нелюдим,
Погрузившийся в былое,
Коротает век один
В древнем замке над скалою.

Не ворвется дух мирской
В глушь обители суровой —
Стерегут ее покой
Неподвижные засовы.

Застает рассветный час
Бьёрна на дозорной башне:
Он, к закату обратясь,
Провожает день вчерашний.

Весь он в прошлом. Все мертво
Для него на этом свете.
И не бьют часы его.
И не движутся столетья.

Бродит Бьёрн. Звучат шаги.
Своды вторят звуку звуком.
Будто ходят двойники —
Друг за другом, круг за кругом.

Из живущих никому
Нет прохода к Бьёрну в замок.
Собеседники ему —
Предки в золоченых рамах.

Приглашает он порой —
Хоть и несколько сконфужен
Святотатственной игрой —
Предков-рыцарей на ужин.

Бьёрн приветствует гостей,
Кубок в полночь поднимая.
Сталь без мяса и костей —
Призраков толпа немая.

Все в броне — до самых пят.
Каждый хочет сесть. Колени
Норовит согнуть. Скрипят
И скрежещут сочлененья.

Чресла ржавые склоня,
С полым грохотом, нелепо,
В кресло рушится броня —
Остов, род пустого склепа.

Кто ландграф, а кто бургграф,
Кто с небес, кто из геенны —
Но, забрала вверх задрал,
Одинаково надменны.

Гриф, дракон, крылатый змей
Светом вырваны из тени —
Геральдических затей
Безобразные виденья.

Хищный коготь, клюв кривой,
Пасть ощеренная зверья,
Над причудливой резьбой
Шлема — вздыбленные перья.

Двух зловещих огоньков
Синеватое мерцанье
Из открытых шишаков
И порожних лат бряцанье.

В предвкушение кутежа
Все расселись с видом важным,
Тень склоненного пажа
Обозначилась за каждым.

Все вокруг обагрено:
При свечах еще пунцовой
В кубках красное вино,
В блюдах соус — цвета крови.

Блик по панцирю пройдет,
Шлем пернатый загорится;
Вдруг со стуком упадет
Кованая рукавица.

Слышен лёт нетопыря —
Крылья бьются учащенно.
Реют, в воздухе паря,
С полумесяцем знамена.

Строй кинжалов кабана
Запеченного кромсает...
Гул, вздымаясь, как волна,
Галереи потрясает.

Не слышали бы тут
Грома, грянувшего с неба:
Мертвецы не часто пьют,
Но зато уж пьют свирепо.

Что за пыл! И что за пир!
Будто для иной утехы —
Не на ужин, на турнир —
В замок съехались доспехи.

Льют из кубков, чаш, рогов,
Шлемы полнятся — и скоро
Из железных берегов
Выйдут винные озера.

Блюда опустошены,
Розовеют клочья пены,
И, как певчие, пьяны
Доблестные сюзерены!

Герцог влез в салат ногой
И, заботясь о соседе,
С ним проводит час-другой
В наставительной беседе.

Но сосед его — увы! —
Так и хлещет, шлем разинув,
Как разверзли пасти львы
На щитах у паладинов.

В склепе горло застудив,
Макс, певец хриплоголосый,
Свежий затянул мотив,
Модный в пору Барбароссы.

Шею, плечи и бока
Трет Альбрехт, рубака ярый,
Сарацинского клинка
Вспоминает он удары.

Фриц, посуду расколов,
Шлемом об стол грохнул в раже —
И о том, что безголов,
Не подозревает даже!

Запрокинув кадыки,
Под столом лежат сеньоры.
Выгнутые, как клыки,
Башмаки торчат и шпоры.

Павший встарь повержен вновь.
Каждый — как сраженный воин,
Но из ран не льется кровь —
Пища лезет из пробоин.

Мрачен Бьёрн. Ублажены
Предки. Петухи пропели,
Осветился край стены,
Витражи заголубли.

Утро брезжит из окна —
И за предком тает предок,
Чашу полную вина
Опрокинув напоследок.

В склеп, незримые, бредут
И тяжелые от хмеля
Шишаки свои кладут
На гранитные постели.

Перевод А. Якобсона

НЕРЕИДЫ

Есть у меня рисунок броский,
Причудливый для глаз моих,
Как подпись — Теофиль Княтовский, —
С трудом лежащая в стих.

На нитях пены, белых, длинных,
Вплетенных в синий плащ волны,
Три нимфы, три цветка глубинных,
В букете соединены.

Их в танце носит зыбь морская,
Кружа на завитках своих,
Как лилии, тела лаская,
Внося и опуская их.

Необычайные уборы
Из трав и раковин горят —
Дары ларцов, подарки Флоры
Сопряжены в кудрях наяд.

Дарят глубины жемчуг феям,
Опустошив свои сады,
И вместе с жемчугами к шеям
Прильнули капельки воды.

Под золотом волос зеленым
Они омыты синевою,
Их так легко вздымать Тритонам,
Подняв до бедер над водой;

А ниже, в голубом блистанье,
Чешуйчатый дрожит изгиб —
Тела кончаются хвостами
У полуженщин-полурыб.

Кто ж возмутится плавниками,
Крестцом, покрытым чешуей,
Увидев грудь, как гладкий камень,
Целованный морской струей?..

Но жизни и легенд сплетенье
Внезапно поражает взор:
Корабль невиданный — в смятенье
Ввергающий согласный хор.

Трехцветных флагов резки взмахи,
И хлещут лопасти волну,
И черен дым трубы — и в страхе
Уходят нимфы в глубину.

Когда-то их семья морская
Не пряталась от парусов,
Дельфины, крупами сверкая,
Несли на Ариона зов.

Но пароход, как бьющий властно
Венеру сумрачный Вулкан,
Не пощадил бы нимф прекрасных —
Их отхлестал бы по щекам.

Прощайте, нынешние мифы!
Корабль прошел, и вдалеке,
Там, где бесследно скрылись нимфы,
Дельфин как бы парит в прыжке...

Перевод Ю. Даниэля

ЛОКОНЫ

Подчеркивая томность взгляда,
Где грусть и торжество слиты,
Два локона, как два снаряда,
Для ловли сердца носишь ты.

Закручен туго, каждый сросся
С щекой, но ты легко могла б
Приладить оба, как колеса,
К ореховой скорлупке Маб.

Иль это лука Купидона
Два золотые завитка
Слились в кольцо, прильнув влюбленно
К виску крылатого стрелка?

Но с миром чисел я в разладе:
Ведь сердце у меня одно.
Так чье же на соседней пряди
Повиснуть рядом с ним должно?

Перевод Б. Лившица

ЧАЙНАЯ РОЗА

Чуть-чуть подкрашенный кармином,
Полураскрывшийся бутон
В своем томлении невинном —
Благоуханный полутон.

Такая роза розой белой
Казалась бы наверняка,
Когда бы вдруг не покраснела
От поцелуев мотылька,

В своей телесности прозрачной
Любого бархата нежней,
Она затмила цвет кумачный —
Багрец вульгарен перед ней,

При ней румянец неприличен.
Среди сестер ей равных нет,
Настолько аристократичен
Неотразимый бледный цвет.

Но стоит ей во время бала
Близ вашей побывать щеки,
Очарование пропало:
Грубеют мигом лепестки.

Весна старается напрасно.
Хоть обойди весь белый свет,
Не встретишь розы, столь прекрасной,
Как вы, мадам, в семнадцать лет.

Кровь торжествует молодая,
Разгоряченная мечтой,
Все розы в мире побеждая
Своею жаркой чистотой.

Перевод В. Микушевича

КАРМЕН

Кармен — худа. Она гитана
И солнцем юга сожжена,
Змеею падая вдоль стана,
Коса ее, как смоль, черна.

Но в блеске глаз ее — победа,
Пред ней никто б не устоял,
И сам епископ из Толедо
Пред ней колена преклонял.

По вечерам в тени алькова
Своей распушенной косой
Она, как складками покрова,
Вся закрывается порой.

Когда глаза ее темнеют,
Суля восторги без конца,
И, словно кровь, уста алеют
На смуглой бледности лица —

По прихоти природы странной,
В своей чарующей красе,
Пред этой смуглою гитаной —
Красавицы бледнеют все.

Она для женщин безобразна,
Но из мужчин — ни млад, ни стар,
Не избежал еще соблазна
Ее непобедимых чар.

Перевод О. Чюминой

КАРМЕН

Она худа. Глаза как сливы;
В них уголь спрятала она;
Зловещи кос ее отливы;
Дубил ей кожу сатана!

Она дурна — вот суд соседский.
К ней льнут мужчины тем сильней.
Есть слух, что мессу пел Толедский
Архиепископ перед ней.

У ней над шеей смугло-белой
Шиньон громадный черных кос;
Она все маленькое тело,
Раздевшись, прячет в плащ волос.

Она лицом бледна, но брови
Чернеют и алеет рот:
Окрашен цветом страстной крови,
Цветок багряный, красный мед!

Нет! С мавританкою подобной
Красавиц наших не сравнять!
Сиянье глаз ее способно
Пресыщенность разжечь опять.

В ее прельстительности скрыта,
Быть может, соль пучины той,
Откуда, древле, Афродита
Всплыла, прекрасной и нагой!

Перевод В. Брюсова

КАРМЕН

Кармен тоща — глаза Сивиллы
Загар цыганский окаймил;
Ее коса — черней могилы,
Ей кожу — сатана дубил.

”Она страшнее василиска!” —
Лепечет глупое бабье,
Однако сам архиепископ
Поклоны бьет у ног ее.

Поймает на бегу любого
Волос закрученный аркан,
Что, расплестись в тени алькова,
Плащом окутывает стан.

На бледности ее янтарной —
Как жгучий перец, как рубец, —
Победоносный и коварный
Рот — цвета сгубленных сердец.

Померься с бесом черномазым,
Красавица, — кто победит?
Чуть повела горящим глазом —
Взалкал и тот, что страстью сыт!

Ведь в горечи ее сокрыта
Крупинка соли тех морей,
Из коих вышла Афродита
В жестокой наготе своей...

Перевод А. Эфрон

ЧТО ГОВОРЯТ ЛАСТОЧКИ

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

И вот уже похолодало,
Желтеет густая трава,
И листьев засохло немало...
Прощай до весны, синева!

В садах разоренных пустынно,
Но, бедности всей вопреки,
Кокардой горда георгина,
В чепце золотом — ноготки.

Ненастные хмурятся дали.
От ливней пузырится пруд.
И ласточки защебетали:
"Нам холодно, холодно тут!"

Из этого дружного хора
Доносится голос одной:
' В Афинах резвиться мне скоро
На старой стене крепостной.

Давнишний приют мой спокоен.
Карниз Парфенона — мой дом.
Одну из глубоких пробоин
Своим я заткнула гнездом".

”Я в Смирне, — другая сказала, —
Отличный нашла уголок.
В кофейне, где запах сандала,
Просторный такой потолок!

Купаюсь я в солнечном блеске,
Ныряю в дымок чубука,
Чалмы и высокие фески
Крылом задевая слегка”.

И третья: ”В заброшенном храме,
В Ливане уютен триглиф.
За камень держусь коготками,
Голодных птенцов накормив”.

Четвертая: ”Что мне метели!
На Родосе мне благодать.
Как весело на капители
Походный шатер воздвигать!”

И пятая: ”Пусть я старею.
Как радует Мальта мне глаз
Лазурью весенней своею
Над белым простором террас!”

Шестая: ”Зимую в Каире.
Там есть у меня минарет.
В моей глинобитной квартире
Всю зиму не ведаю бед”.

”У каменного фараона, —
Седьмая сестра говорит, —
Уютная очень корона,
Добротный, надежный гранит”.

Все вместе: ”Окончены сборы.
И темные дали, и лес,
И море, и снежные горы
Мы завтра увидим с небес”.

Щебечут они, тараторят
И взмахами крыльев своих
Осеннему шороху вторят,
Который в садах не затих.

Понятны мне песенки эти.
Поэт — перелетным родня,
Но только в незримые сети
Давно заманили меня.

Как Рюккерт поет несравненный —
Крыла мне, крыла мне, крыла,
Чтоб мог я лететь, вдохновенный,
В страну золотого тепла.

Перевод В. Микушевича

ПОСЛЕ ФЕЛЬЕТОНА

Моя готова колоннада,
Очередной мой фельетон.
Фронтон газеты, если надо,
Всегда поддерживает он.

На восемь дней освобожденный,
Я вышвырнуть могу теперь
Любой шедевр мертворожденный
До понедельника за дверь.

Довольно с вас привычной дани!
Не смеют нити мелодрам
Скользить среди капризной ткани:
Мои шелка соткал я сам.

Свой балаганный звон рассыпав,
Умолк продажный бубенец.
Моих глубоких чистых всхлипов
Не заглушают наконец.

И вот за здравие былого,
За счастье, мертвое давно,
С моею гостьей-грезой снова
Пью кровное свое вино.

Напиток этот изобильней,
Прозрачнее и чище слез.
Так жизнь становится давящей,
Где сердце — лучшая из лоз.

Перевод В. Микушевича

ЗАМОК ПАМЯТИ

Слежу, как под золою черной
Камин мой светится чуть-чуть,
И к Замку Памяти упорно
Ищу в былом заглохший путь.

Синеют сквозь туман неясно
Леса, поля, холмов горбы,
И вопрошает взор напрасно
Все придорожные столбы.

Среди руин, окутан тенью,
Иду я медленно вперед —
И в край таинственный забвенья
Уводит каждый поворот.

Спешу, ищу чего-то жадно —
И память, призрачно-светла,
Мне, как Тезею Ариадна,
Нить путеводную дала.

Уж различаю я дорогу,
Сверкает розоватый луч —
И башня Замка понемногу
Растет, вставая из-за круч.

Густа древесная аркада,
Шаги глушит кудрявый мох;
В коврах душистых листопада
Забывший путь, как лента, лег.

Колючий терн встает стеною,
Лианы вьют свое кольцо;
Ветвь, отведенная рукою,
С размаху бьет меня в лицо.

И вот в конце опушки хмурой
Я вижу Замок наконец —
Замшелых башен амбразуры
И кровли стрельчатый венец.

Не вьется синей бороздою
Дым над трубою в вышине,
Не светит яркою звездой
Огонь в решетчатом окне.

Повис, чернея, мост подъемный
С концами порванных цепей;
Зарос трясиной ров огромный,
Сплетеньем стеблей и корней.

И дикий плющ, цепляясь смело,
Обвил все выступы кругом
И душит старой башни тело,
Платя гостеприимству злом.

Ступени стоптаны годами;
Все — запустенье, все — ущерб;
И выцвел, вымытый дождями,
Над входом мой фамильный герб.

Взволнованный, толкаю дверь я, —
Она дрожит, скрипя петель, —
И спертый воздух подземелья
Пахнул холодною струей.

Крапива руки жжет сурово,
Раскинул зонтики лопух;
От запаха болиголова
Уже захватывает дух.

Пятном зеленовато-серым
Тень липы, старой уж теперь,
Скользит по мраморным химерам,
Бессменно сторожащим дверь.

И, лапой львиной угрожая,
Они мне преграждают путь —
Но я спокойно успеваю
Им слово тайное шепнуть —

И прохожу. Ворчит сердито
Пес, растянувшись на полу.
Мои шаги тревожат плиты
И эхо сонное в углу.

Сквозь окна желтые покоев,
Скользя по мрамору колонн,
Ложится луч на штоф обоев,
Где всюду виден Аполлон.

Вот Дафна перед темным гротом,
Спасаясь, падает на мох,
Над нею — раненный Эротом —
Склонился златокудрый бог.

Стада, плешивые от моли,
Пасет Адмету Аполлон,
И в плаче муз — стенанья боли,
Пинд выцвел, горем поражен.

Безмолвный дух — Уединенье,
Бродя по комнатам в тоске,
Выводит пальцем: "Запустенье" —
На пыльной мраморной доске.

Заметны глазу еле-еле,
Как царство сонное гостей,
Портреты — блеклые постели —
Красавиц юных и друзей.

Откинут креп моей рукою:
Брильянты, фижмы и гипюр,
Осиный стан... Передо мною
Она — в наряде Помпадур!

Под лепестками розы белой,
Прикрыта кружевом чуть-чуть,
Себя показывает смело
В голубоватых жилках грудь.

Слеза в глазах полуоткрытых,
Как на листке дождевки дрожь,
И пурпур нежный на ланитах —
Предсмертного румянца ложь.

Из-за густых ресниц уныло
Прелестный свой, печальный взор
На мне она остановила —
И я заметил в нем укор.

Нет, как бы ни был я далеко,
В душе моей ты каждый день —
Цветок постели, жертва рока,
Былого маскарада тень!..

...А вот красавица другая,
Смеясь, откидывает газ,
Мадонн Мурильо затмевая
Огнями андалузских глаз.

Наш север, опушась снегами
И сыпля блески серебра,
Убрал восточными цветами
Вторую Петру Камарра:

Загар на щеки ей ложится
Поверх румянца горячей,
Глаза сверкают сквозь ресницы
Сияньем солнечных лучей.

В улыбке губ, сердца тревожа,
Сверкают зубы белизной;
Ее краса с гранатом схожа,
С багряной розой в летний зной.

С моей гитарой я немало
В канцонах воспевал ее;
Она пришла ко мне — и стало
Альгамброй скромное жилье.

...Пред красотой ее соседки
Опять я замедляю шаг:
В массивных кольцах руки крепки,
Грудь в бархате и жемчугах.

С лицом скупающей инфанты,
Невольной пленницы дворца,
Перебирает бриллианты
Она в сокровищах ларца,

Рот чувственный и влажный красен,
В крови сердец окрашен он,
Взгляд глаз ее жестоко-страстен,
Надменным вызовом зажжен.

Нет, то не грации виденье:
Плененный мощной красотой,
Найдешь лишь гордое презренье
В любви Венеры этой злой.

При ней амуру не резвиться,
Без колотушек не расти...
О демон мой! Моя тигрица!
Прощай навеки — и прости!..

...Мелькает тень в пустынном зале,
Будя зеркал вечерний бред,
Рисуя в бронзовом овале
Давно забытый мой портрет.

Неясный призрак, гость случайный,
Чей образ сгладиться готов,
Глядит из глубины зеркальной,
Из мрака прожитых годов.

В жилете пурпурнее розы
(Смущавшем некогда ханжей)
Он словно ищет нужной позы
Для Деверья иль Буланже.

Гроза всей пошлости плешивой,
Враг буржуа — волос копна
До плеч ложится львиной гривой,
Как будто рыжая волна.

Таким — романтиком не в меру,
Бойцом, кому искусство — бог,
Шагал я дерзко по партеру,
Когда трубил Эрнани в рог.

...Спустилась ночь, темнеют стены,
Проснулись шорохи в углах,
И тайна, как механик сцены,
Внезапно вызывает страх.

И, вспыхнув, тускло засверкали
Огни бесчисленных кенкет
В зловеще-сумрачном накале,
Как огоньков могильных свет!

Дверь тихой отперта рукою,
И сквозь бездонной тьмы провал
Виденья бледные толпою
Безмолвно наполняют зал.

Портреты покидают рамы,
Подал друг другу тайный знак;
Платком обмахиваясь, дамы
С лица стирают желтый лак.

В кружок уселись гости чинно
И трут ладонью о ладонь,
Отогреваясь у камина,
Где вспыхнул тотчас же огонь.

Недавний прах, жилец могилы,
Свой облик обретает вновь:
В нем пробудились снова силы,
По венам снова льется кровь;

Румянец на лице алеет,
Как в тот, давно минувший год...
Друзья, о ком душа жалеет,
Благодарю за ваш приход!

Воскрес год восемьсот тридцатый,
Друзья глядят сквозь мрак густой,
Мы — как отрантские пираты:
Теперь нас десять, было сто.

Один, как Фридрих Барбаросса,
В дремоте ждет далекий зов;
Другой на дерзких смотрит косо,
Расправив кончики усов.

Тоску, невидимую свету,
Борель под гордый плащ укрыл,
Куря беспечно сигарету,
Что "papelito" окрестил.

Тот говорит мне про усилья
Мечты, несбыточной давно, —
Икар, в пути спаливший крылья,
Что всем порывам суждено.

Тот драму стряпает в задоре,
С героем на иной фасон,
Где сведены в одном узоре
И Жан Мольер и Кальдерон.

Том, очарован запустеньем,
"Love's labours lost" прочесть не прочь,
А Фриц толкует с упоеньем
Всем про "Вальпургиеву ночь".

Но уж рассвет глядится в окна,
Бледнея, призраки скользят,
И в дымке их, как сквозь волокна,
Предметы различает взгляд.

Кенкеты гаснут... меньше свету,
Камин подернулся золой,
Туман струится по паркету...
Прощай, заветный замок мой!

Спешит декабрьская денница
Песок часов перевернуть.
В дверь Настоящее стучится —
Но как забыть к Былому путь!

Перевод М. Касаткина

КАМЕЛИЯ И ФИАЛКА

Камелии и орхидеи,
Далеко от родных долин,
Вы — за стеклом оранжерей —
Как драгоценности витрин.

Рассветный ветер в перелете
Не тронет поцелуем вас;
Здесь рождены вы, здесь умрете
Под взглядом любопытных глаз.

Для всех открыта спозаранок
Бутонов шелковистых грудь —
За деньги, словно куртизанок,
Легко вас купит кто-нибудь.

Букеты пышные азалий
Китайских ваз хранит фарфор;
Рука в перчатке — в бальном зале —
Небрежно треплет их убор.

А там, в лесу, в тени сквозистой,
От глаз и рук людских далек,
Внимая тишине душистой,
Лиловый прячется цветок.

И мотылек, сверкнув, как пламя,
Коснувшись чашечки цветка,
Качается над лепестками
На хрупкой стрелке стебелька.

Внизу — травы приют укромный,
Вверху — небес голубизна...
Благоухает венчик скромный
Для вас лишь, Бог и тишина.

Не троньте лепестков случайно —
Они стыдливо задрожат;
Вдыхайте этот запах тайный,
Души цветочный аромат, —

И вы, камелии, тюльпаны,
С обозначением цены,
Перед цветком лесной поляны
Забвению обречены!

Перевод М. Касаткина

Над выщербленной черепицей,
Где кот на птицу точит зуб,
Мансарда узкая теснится
Меж дымовых кирпичных труб.

Я враль, как всякий сочинитель,
И ничего не стоит мне
Украсить нищую обитель
И выставить цветы в окне.

Любуйтесь: у окна, как в раме,
Жанетта в зеркальце глядит,
И в потускневшей амальгаме
Полглаза черного блестит.

Или Марго в одной рубашке,
Трепещущей на ветерке,
Спешит полить водой из чашки
Свой садик — резеду в горшке.

Или поэт двадцатилетний
Твердит сумбурные стихи,
Монмартр оглядывая летний
И мельниц острые верхи...

Но в жизни все бедней и проще,
Все неподдельно. И в окно
Стропил я вижу абрис тощий,
Простынь белесое пятно.

Мансарда сотни раз воспета,
Но не сладка для бедноты —
Для бесприютного поэта
Или девчонки-сироты.

На днях сюда, на верхотуру,
Где места нет дружка обнять,
Я видел, занесло Амура
К Сюзон, на шаткую кровать.

Но любящим милей альковы,
Шелк, кружева и серебро.
Как пылко мы любить готовы
В постелях, созданных Монбро!

Однажды вечером Жанетта
Застряла на холме Бредá,
Марго квартиру сняли где-то,
В мансарде сохнет резеда.

У всех судьба одна и та же,
И даже юноша-поэт
Сошел с небес и в бельэтаже
Строчит статейки для газет.

Старуха да котенок прыткий
Видны в оконце чердака,
Да нескончаемая нитка
Из бесконечного клубка.

Перевод В. Портнова

ОБЛАКО

Над горизонтом возникая,
В лазури облако плывет,
Как будто девушка нагая
Среди просторных светлых вод.

Рожденная воздушной пеной,
В эфирной этой вышине
Плывет Киприда по вселенной
На перламутровом челне.

Маячит контуром неясным
В причудливости томных поз.
Сама заря плечам атласным
Своих не пожалела роз.

Снег с мраморною белизною,
Туман со светом ярким слит.
Эскиз Корреджо предо мною:
Над миром Антиопа спит.

Окутанная дымкой млечной,
Превыше Апеннинских гор,
Подобьем женственности вечной
Влечет она мой страстный взор.

Неудержимо, исступленно
Душой стремлюсь я к ней опять.
Двойник безумный Иксиона,
Готов я облако обнять.

Мне говорит рассудок: "Это
Твоя же греза пред тобой.
Игрушка ветерка и света,
Мираж в пустыне голубой".

Перечит сердце: "Ну и что же!
Все, что зовется красотой,
С прекрасной этой тенью схоже:
Мгновенный призрак, звук пустой.

Безбрежной синевой небесной
Смелей свою наполни грудь!
Пусть любовь — обман прелестный!
Живи любовью! — В этом суть".

Перевод В. Микушевича

ДРОЗД

В лесу поет и свищет птица —
Фрак черен, башмачки желты.
На ветках иней серебрится,
Но не спугнет ее мечты.

То дрозд, веселый пустомеля.
Он, не спросясь календаря,
Встречает песенкой апреля
Скупое солнце января.

Пусть Арв желтеет в синей Роне,
И дождь, и стужа до костей,
И в блекло-голубом салоне
Камин приветствует гостей;

Пусть в мантиях из горностая,
Как судьи, горы и холмы
Глядят, параграф обсуждая
О беззакониях зимы, —

Он чистит перышки, он скачет,
Свистит, не ведая забот.
Хоть ветер воет, небо плачет,
Он знает, что и май придет.

Зовет зарю вставать с постели,
Ворчит, что ленится она.
Найдет подснежник в зимней прели
И спросит: ну а где ж весна?

Он смотрит в мрак и лучезарный
Восход предчувствует за ним.
Так в храме за стеной алтарной
Провидит бога пилигрим.

Его инстинкт не промахнется,
Он чует истину всегда,
И глуп, скажу я, кто смеется
Над философией дрозда.

Перевод В. Левика

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ

Я вас люблю — секрет вам ведом
Уж добрых восемнадцать лет...
Я стар — за мною выюги следом,
Вы — все весна и розы цвет.

Снега кладбищенской сирени
Смягчили смоль моих висков...
Я скоро весь укроюсь в сени
Ее холодных лепестков.

С путем закатного светила
Слилась земная колея...
Среди всего, что высью было,
Последний холм провижу я.

Ах, если б поздним поцелуем
Меня раскрепостили вы,
Чтоб, тщетной страстью не волнуем,
Я смог уснуть под шум травы!

Перевод А. Эфрон

УЮТНЫЙ ВЕЧЕР

Зима собачья — снег и лужи!
Все кучера дрожат от стужи.
Дал бог нам день!

Не лучше ль стул к огню придвинуть,
В камин побольше дров подкинуть —
И царствуй, лень!

В углу тахта зовет к уюту,
Манит припасть хоть на минуту
К ее груди
И, как подруга в миг разлуки,
Твердит, протягивая руки:
"Не уходи!"

Как тело нимфы, розоватый
Колпак с бахромкой, чуть примятой,
Скосился вбок
Над белым шаром лампы медной,
И лампа круг бросает бледный
На потолок.

В тиши лишь маятник неспящий
Стучит, качая диск блестящий,
Да, словно зверь,
Завоет ветер, и дозором
Пройдет по темным коридорам,
И рвется в дверь.

Я зван в посольство, но пойду ли?
Вон свесил рукава на стуле
Мой черный фрак.
Пластрон в торжественности бальной
Мерцает белизной крахмальной
Сквозь полумрак.

Ботинки узкого фасона
Зевают, шурясь полусонно
На блеск огня,
И гладки, без единой складки,
Лоснятся лайкою перчатки
И ждут меня.

Однако время! О, мученье:
Глазеть, вливаясь в их течение,
На строй карет
С гербами выскочек безродных,
На прелести красоток модных,
Везомых в свет;

У двери став с любезной миной,
Следить за хлынувшей лавиной
Дельцов, вельмож,
Девиц, кокоток именитых
В корсажах, на груди открытых,
И в платьях клеш,

Прыщавых спин, покрытых газом,
Бесцветных глаз, где дремлет разум,
Не вспыхнет смех, —
Персон, известных всей Европе,
Безликих лиц в калейдоскопе,
Кружащем всех.

А там стоят богачки-вдовы,
Глядят, как ястреба иль совы,
Тебе в лицо!
Шепнешь ли ей, хотя б украдкой,
В ушко под непослушной прядкой
Одно словцо?

Нет, не пойду — что толку в этом?
Пошлю записку ей с букетом,
И уж тогда
Я гнев ее обезоружу.
Она, клянусь, и в дождь и в стужу
Придет сюда.

Со мной здесь Гейне, Тэн, Гонкуры,
Не могут снег и сумрак хмурый

Проникнуть в дом.
А вечер быстро пронесется,
И на подушке мысль прервется
И станет сном.

Перевод В. Левика

СЛАВНЫЙ ВЕЧЕРОК

Снег. Вьюга что ни час, то злее;
Напрасно кучер, коченея,
Ждет седока...
Картина зимняя знакома!
Неплохо бы остаться дома,
У камелька...

Как соблазнительно виденье
Большого кресла, чье сиденье —
Уют сплошной...
Диван, подругой в час разлуки,
Вам шепчет, простирая руки:
"Побудь со мной!"

Узор изящный абажура
Скрывает (словно сеть ажюра
Младую грудь)
Округлой лампы очертанье
И млечное ее сиянье
Колеблет чуть.

Все тихо — лишь неугомонный
Считает маятник бессонный
Шаги минут,
Лишь ветер плачет в коридоре
О том, что двери на запоре, —
Он лишний тут!

Откуда в сердце недовольство?
Я зван в британское посольство,
Мой черный фрак,
Совместно с щегольским жилетом,
Напоминает мне об этом;
Я знал и так!

И туфли, лаковые франты,
Расправив шелковые банты,
Ждут у огня,
Сорочки хладное объятье,
Перчатки вялое пожатье —
Все ждет меня!

Пора! Но нет скучнее долга,
Чем ехать бесконечно долго
В ряду карет
И наблюдать гербы и лица,
Которыми равно кичится
Наш высший свет,

Чем в залах, ярко освещенных,
Смотреть на толпы приглашенных,
На их поток,
На все румяна и морщины,
Прически, вырезы и спины,
Тая зевок,

Взирать на явные уродства,
Что прячет, с миной превосходства,
Иной убор,
На денди и на дипломатов,
Чей цвет лица отменно матов,
Бесстрастен взор...

К тому ж не обогнуть мне рифа —
Когорты дам с глазами грифа
Или змеи,

Блюстительниц былой морали,
Что заглянуть дадут едва ли
В глаза твои...

Нет, не поеду! Даже зная,
Что этим огорчу, родная,
Тебя — ну что ж!
Фиалки с письмецом умильным
Отправляю я тебе с посыльным,
И ты придешь!

Покуда снизойдут амуры,
Со мною Гейне, Тэн, Гонкуры
Жюль и Эдмон,
Час ожидания — не бремя
С друзьями этими, и время
Пройдет, как сон...

Перевод А. Эфрон

ИСКУССТВО

Да, тем творение прекрасней,
Чем нами взятый матерьял
 Нам неподвластней:
Стих, мрамор, сардоникс, металл.

Не надо хитростей мишурных,
Но, прямо чтоб идти, ремни
 Ты на котурнах
У Музы туже затяни!

Прочь, ритм знакомый и удобный,
Как чересчур большой башмак,
 Сегодня модный,
Что носит и бросает всяк!

Ваятель! глину, что покорно
Под пальцем уступает, кинь,
 Когда упорно
Мечты летят в святую синь.

Борись с каррарской глыбой, меткой
Рукою крепкий парос бей,
 Чтоб камень редкий
Хранил изгиб черты твоей.

Доверься бронзе несравненной
Из Сиракуз, в которой лик,
 Ввек неизменный,
Живет, прекрасен и велик.

Пусть, осторожный соглядатай,
Отыщет верный твой резец
 В куске агата
Лик Феба и его венец.

Стремись, Художник, к высшей цели:
Сменить тебе не будет жаль
 Блеск акварели
На печь, где плавится эмаль.

Твори сирен — род синеокий, —
Свивающих на сто ладов
 Свой хвост широкий,
Чудовищ золотых гербов;

Рисуй тройное озаренье
Над ликом Девы и Христа
 И возвышенье
Голгофы с знаменьем креста.

Проходит все. Одно искусство
Творить способно навсегда.
 Так мрамор бюста
Переживает города.

Медаль простая, что находит
Плуг пахаря средь пустыря,
Опять выводит
На свет забытого царя.

И сами боги умирают,
Но строки царственные строф —
Те пребывают
Нетленными в ряду веков.

Ваяй, шлифуй, чекань медали!
Твои витающие сны
На вечной стали
Да будут запечатлены!

Перевод В. Брюсова

ИСКУССТВО

Чем злей упорство ваше,
Слог, мрамор и эмаль,
Тем краше
Стих, статуя, медаль.

Ходить в корсете дурно,
О муза! — но ремни
Котурна
Потуже затяни!

Чтоб не увязли ноги
В болоте общих мест,
Дороги
Ищи крутой окрест!

Простись, художник, с лепкой:
К чему творить такой
Некрепкой,
Рассеянной рукой?

Хранитель форм и линий!
Каррарский монолит;
Не глине
Вверяться надлежит!

Возьми у камня прочность,
У бронзы Сиракуз
И точность,
И благородный вкус.

Резцом в слоях агата
Тобой осуществлен,
Тогда-то
Воскреснет Аполлон!

Не надо акварели!
Оттенки, что любил
Доселе, —
Крепи в огне горнил!

Лишь в пламенном крещенье
Надежность обретут
Сплетенья
Фантазий и причуд:

Красавицы морские,
Грифоны в облаках,
Марии
С младенцем на руках...

Проходит все; натура
Любая — прах и тлен...
Скульптура —
Останется взамен.

Запечатлен в металле,
Тиран или герой
С медали
Увидит век иной.

И боги и кумиры
Сокроются во мгле;
Звук лиры —
Пребудет на земле.

Творите и дерзайте,
Но замысла запал
Влагайте —
В бессмертный матерьял!

Перевод А. Эфрон





Комментарии
и





ГОТЬЕ И ГУМИЛЕВ

В 1926 г. в статье "Жак родился и умер", справедливо заметив, что высшей наградой для переводчика служит "усвоение переведенной им вещи русской литературой", О. Мандельштам среди немногих примеров назвал «русские "Эмали и камеи" Теофиля Готье»¹ в переводе Николая Гумилева.

Отдавая дань соратнику по литературной борьбе, трагически погибшему поэту, Мандельштам вместе с тем предостерегает против всеобщего упадка современной ему переводческой культуры и ностальгически вспоминает о тех временах, когда "перевод иностранной книги на русский язык являлся событием — честью для чужеземного автора и праздником для читателя", когда он был "прививкой чужого плода и здоровой гимнастикой духовных мышц"².

Нужно помнить и то, что опыт Гумилева выделяется среди других русских переводов из Готье уже хотя бы тем, что и по сей день остается единственным *полным* переводом "Эмалей и камей". Как оценить его?

Напоминая о двух крайностях, грозящих всякому переводчику ("либо самодержавная субъективность, либо вассальная служба при оригинале"), С. С. Аверинцев

¹ См.: Мандельштам О. Слово и культура. М., Советский писатель, 1987. С. 238.

² Там же. С. 237.

первый случай иллюстрирует примером Б. Пастернака, "вдохновлявшегося иноязычной поэзией совершенно так же, как, скажем, явлением природы"¹. Примером второго рода может служить анекдотическая (и по-своему трагическая) судьба французского поэта Жюль Вабра, рассказанная Готье в "Истории романтизма". Влюбленный в Шекспира, Вабр мечтал создать идеальный перевод его пьес на французский язык, выбрав для этого путь полного самоотрешения — отрешения от собственной национальной культуры, которая представлялась ему досадным препятствием, не позволявшим безоглядно вжиться в драматургию великого елизаветинца и в духовную атмосферу его страны. Не ограничившись простым вытравливанием в себе "французских" черт, Вабр решился довести свой рискованный эксперимент до логического конца: он покинул родину и переселился за Ла-Манш. Результат, однако, существенно разошелся с замыслом: Вабр добился того, что сделался заправским "англичанином", но Шекспира так и не перевел: чем больше он "отрешался" от Франции, тем больше утрачивал ту упругую среду собственной культуры, на фоне которой только и можно почувствовать своеобычность и характерность культуры чужой.

Перевод — это не лишенная драматизма борьба двух субъективностей, двух "я" — переводящего и переводимого, взаимодействующих не только как эмпирические, но и как "культурные" субъекты: интерпретатор выступает носителем "своей" культуры, а переводимый поэт — носителем "чужой". С одной стороны, переводчик, конечно, должен бороться за то, чтобы вжиться в "чужое", преодолев притяжение "своего"; в противном случае ему грозит опасность вытеснить, подменить собою переводимого автора, "вчитать" себя в иноязычный оригинал. С другой стороны, притяжение собственной культуры не

¹ Аверинцев С. С. Размышления над переводами Жуковского // Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского. Т. 2. М., Радуга, 1985. С. 566 — 567.

должно быть преодолено полностью, ибо только "взгляд извне делает возможным имажинативное слияние через барьер различия"¹, иначе перед переводчиком во весь рост встает другая опасность — опасность раствориться в "чужом", утратить ощущение его специфичности.

Вот почему идеальный перевод вырастает из не совсем обычной борьбы: это своего рода "любящая борьба", цель которой — не растворение в оригинале, но и не его отчуждающая объективация; оригинал надо "завоевать", подобно тому как мы завоевываем любимое существо, не уничтожая его субъективности, но и не подчиняясь ей полностью, сохраняя собственное — любящее — "я" и вместе с тем добровольно отдавая его во власть другому "я" — любимому.

Понятно, что такой идеал трудно достижим — как в жизни, так и в поэзии.

Как же в свете всего сказанного выглядит перевод Гумилева?

Прежде всего отметим, что он никоим образом не подходит под только что описанные крайние случаи. Гумилев — поэт с ярко выраженным индивидуальным обликом, а потому опасность "рабского" подчинения оригиналу ему не грозила. Не грозила ему (по причинам, которых мы коснемся ниже) и прямо противоположная опасность — торжество "самодержавной субъективности", "выталкивание" оригинала. Если уж говорить о "выталкивании" Готье из "Эмалей и камней", причем выталкивании, которое не всякий заметит с первого взгляда, то следует вспомнить совсем другое имя — имя О. Чюминой².

¹Аверинцев С. С. Размышления над переводами Жуковского. С. 561.

²Чюмина (в замужестве Михайлова) Ольга Николаевна (1864 — 1909) — русская поэтесса, выступавшая в периодической печати (ж. "Вестник Европы", "Русская мысль", "Северный вестник", "Русское богатство", "Мир Божий" и др.) с начала 1880-х гг. Ей принадлежат сборники "Стихотворения" (1897), "Новые стихотворения" (1905), "Осенние вихри" (1908), около 20 пьес (ставившихся на сцене Александринского театра в Петербурге) и

Разумеется, профессиональная рука Чюминой (переводившей Готье за 20 лет до Гумилева) — это вовсе не та "пухляя дамская ручка" (способная своим стыдливо-нежным прикосновением изуродовать любой оригинал), о которой язвительно писал Мандельштам в упоминавшейся статье. Чюмина небесталанна. Ее стих достаточно легкий и звучен, синтаксис естествен, интонации не затруднены. Если в качестве примера взять ее перевод цикла "Венецианский карнавал", то мы заметим, что поэтесса без видимого труда воссоздает колоритную атмосферу, экзотическую характерность итальянского праздника. Однако заметим мы и другое: переводчица последовательно сокращает стихотворения, входящие в цикл, на одну, а то и на две строфы (подобную вольность иной раз не грех и простить), а многие строфы, по сути дела, пишет как бы заново. Это уже не "вольность", это симптом — симптом того, что Чюмину что-то не устраивает в оригинале: что-то кажется ей лишним, подлежащим устранению или замене. Что же именно? Прежде всего, самая суть поэзии Готье — ее подчеркнутая предметность, а также постоянная игра "лица" и "маски". У Готье, как мы видели, лирическая эмоция никогда не подается открыто, она всегда заключена в спасительные стилизующие кавычки, как бы прячется и выглядывает (то настороженно, то лукаво) из-за спины чужих топосов, в свою очередь предстающих в несколько ироническом освещении, как, например, в предпоследней строфе стихотворения "Сентиментальный свет луны": "Et que mon cœur, comme la voûte // Dont l'eau pleure dans un bassin, // Laisse tomber goutte par goutte, // Ses larmes rouges dans mon sein", где вся прелесть — в нарочито остранинном образе истекающего кровью сердца, уподобленного каменному своду, с которого слезами капает вода.

несколько прозаических романов и повестей. Чюмина переводила из Шекспира, Мильтона, Байрона, Теннисона, Мюссе, Виньи, Гюго, Банвиля, Готье, Леконт де Лилля, Коппе, Сюлли-Прюдома, Мендеса, Эредиа, Метерлинка, Ренье, Фора, Лонгфелло, Петефи и многих других поэтов.

Вся эта игра оставляет переводчицу по меньшей мере равнодушной. У Готье предметный и эмоциональный планы неразрывно переплетены между собой: на этом, собственно, и строится эффект стихотворения. У Чюминой равновесие резко нарушается в пользу эмоциональности, а немногочисленные предметные детали, которые она сохраняет в своем переводе, низводятся до роли условно-экзотического фона, на котором развивается сентиментальное переживание. Неудивительно поэтому, что и приведенную строфу переводчица попросту подменяет своим собственным сочинением:

И столько любви беспредельной,
Насмешки такой глубина,
Что в сердце с тоскою смертельной
Восторг пробуждала она...

Чюмина снимает любые возможные смысловые кавычки: любовное чувство не только не пытается надеть на себя маску, но, напротив, навязывается, выставляется напоказ во всей своей наивной оголенности и прямолинейности (чего стоит одна только "любовь беспредельная", рифмуемая с "тоскою смертельной"), смакуется с нарочитой надрывностью (ср.: "Опять предо мной из тумана // Всплывает бывшая любовь, // И плохо зажившая рана // В душе раскрывается вновь..."). Одним словом, "выталкивание" оригинала происходит в данном случае за счет насильственного перевода тонкой стилизации Готье в регистр сентиментального городского романа (получившего у нас особое распространение как раз к концу XIX в.) с его лубочными упрощениями романтической топики.

Не таков перевод Гумилева. Сами импульсы, приведшие к его возникновению, связаны отнюдь не с запросами так называемой "третьей", полумещанской культуры, а с тем кризисом, который — примерно в 1910 году — разразился в "высокой" поэзии. Речь идет о кризисе символизма и о возникновении акмеизма, виднейшим

представителем которого как раз и был Гумилев.

Чем бы ни считать движение акмеистов — "преодолением" символизма (как полагал В. Жирмунский) или его "продолжением", предполагавшим лишь "отказ" от некоторых "крайностей" поздних символистов (как думал Б. Эйхенбаум), очевидно одно: акмеизм возник в процессе отталкивания от некоторых программных установок могущественного на рубеже веков литературного направления.

Акмеистов прежде всего смущала "текучесть" и "зыбкость" символистского слова как прямой результат "слиянности всех образов и вещей, изменчивости их облика"¹. Напомним в этой связи известный критический пассаж Мандельштама (относящийся к 1922 г. и поэтому направленный против символизма как бы задним числом): «Возьмем к примеру розу и солнце, голубку и девушку. Неужели ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза — подобие солнца, солнце — подобие розы и т. д.? Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического "леса соответствий" — чучельная мастерская.

Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс "соответствий", кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой. <...> Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь»².

Противопоставляя символистской туманности, многозначительности умолчаний, метафорической услож-

¹Гумилев Н. Наследие символизма и акмеизм // "Аполлон", 1913. № 1. С. 42.

²Мандельштам О. О природе слова // Мандельштам О. Слово и культура. С. 65 — 66.

ненности "прекрасную ясность"¹, "стихию света, разделяющего предметы", "самоценность каждого явления, не нуждающуюся ни в каком оправдании извне"², наконец, поэтическое "слово" как "чудовищно-уплотненную реальность"³, акмеисты стремились вернуться к материальному миру, к предметно-чувственному, пластически-вещному образу.

Вот здесь-то и вставала проблема традиции, предшественников, на опыт и авторитет которых можно было бы опереться. "Всякое направление, — писал Гумилев, — испытывает влюбленность к тем или иным творцам и эпохам. Дорогие могилы связывают людей больше всего. В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень в здании акмеизма, высокое напряжение той или иной стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека, Рабле — тело и его радости, мудрую физиологичность. Виллон поведал нам о жизни, нисколько не сомневающейся в самой себе, хотя знающей всё, и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет сейчас между собой людей, так смело назвавших себя акмеистами"⁴.

Понятно отсюда, что перевод "Эмалей и камней" следует рассматривать как программную для Гумилева-акмеиста акцию. О результате ее можно будет судить, если сопоставить творчество Готье с оригинальным творчеством самого Гумилева — хотя бы с одним из наиболее известных его сборников, "Жемчуга" (1910), тем более что по времени написания он близко стоит к переводу "Эмалей и камней" (1914). Целый ряд совпадений в

¹ Кузмин М. О прекрасной ясности // "Аполлон", 1910. №1.

² Гумилев Н. Наследие символизма и акмеизм. С. 42, 43.

³ Мандельштам О. Утро акмеизма // Мандельштам О. Слово и культура. С. 168.

⁴ Гумилев Н. Наследие символизма и акмеизм. С. 44 — 45.

поэтике Готье и Гумилева лежит, что называется, на поверхности.

В первую очередь их роднит предметность слова, твердый материальный смысл, которым наделяют его оба поэта, четкость, скульптурность, цветовая окрашенность каждого изображения. Примеры можно брать едва ли не наугад:

Твой лоб в кудрях отлива бронзы,
Как сталь, глаза твои остры,
Тебе задумчивые бонзы
В Тибете ставили костры.

(“Царица”)

В таких стихотворениях, как “Одиночество”, конкретно-чувственное восприятие не только не “деморализуется” (говоря словами Мандельштама), но, напротив, все больше мобилизуется, напрягается от строки к строке:

Я спал, и смыла пена белая
Меня с родного корабля,
И в черных водах, помертвевая,
Открылась мне моя земля.

Она полна конями быстрыми
И красным золотом пещер,
Но ночью вспыхивают искрами
Глаза блуждающих пантер.

Читателю подобных строк не должна показаться слишком парадоксальной мысль И. Б. Роднянской о том, что, обладая “физическим, первичным чувством окружающего его мира”, Гумилев, собственно, ради его обоснования и “выдумал свой акмеизм”¹.

Вторая черта, сближающая Гумилева с Готье, — это явная тяга к “эпиграмматичности”. Не говоря уже о “Портрете мужчины” — прямо “экфрасисе” “картины в

¹ Роднянская И. Возвращенные поэты // “Литературное обозрение”, 1987. №10. С. 22.

Лувре работы неизвестного" ("Его уста — пурпуровая рана // От лезвия, пропитанного ядом; // Печальные, сомкнувшиеся рано, // Они зовут к непознанным уладам"), значительная часть стихотворений, входящих в "Жемчуга" (такие, как "Основатели", "Дон Жуан", "Возвращение Одиссея", "Беатриче" и многие другие), либо имеют предметом изображения литературные сюжеты, либо построены на разветвленных литературных ассоциациях и реминисценциях.

Подобно Готье, Гумилев, как правило, не рисует "с натуры", но "прорисовывает", а зачастую и "дорисовывает" готовые образы-топосы, обильно украшая их выразительными декоративными деталями — начиная с хрестоматийного (стилизованного "под Стивенса") "золота кружев", сыплющегося с "розоватых брабантских манжет" ("Капитаны"), и кончая сочным портретом "мэтра Рабле" в "Путешествии в Китай":

Грузный, как бочки вин токайских,
Мудрость свою прикрой плащом,
Ты будешь пугалом дев китайских,
Бедра обвив зеленым плющом.

"Жемчуга" не знают "неприкрашенной" жизни: у Гумилева она всегда стремится предстать в том или ином литературном наряде, романтическая живописность которого нарочито подчеркивается, стилизуется.

Укажем, наконец, и на третью черту, сближающую Гумилева с Готье, — экзотизм (биографически подкрепленный путешествиями в Италию и Африку), "бегство" в иные века и страны — в библейскую старину ("Адам", "Потомки Каина", "Сон Адама"), в Древний Вавилон ("Семирамида"), в "славянство" ("Сказочное", "Охота"), в античность ("Возвращение Одиссея", "Варвары"), в эпоху Возрождения ("Попугай", "Старый конквистадор", "Капитаны"). Критика уже отмечала, что, стремясь к "реальности, к земному, вещному миру", Гумилев "жаждал мира в такой необычной степени яркости, какую обыденная действительность дать ему не могла". Вот

почему "свою мечту, вычитанную из книг, он превратил в реальность. Это его коренное свойство — превращать в реальность (или, что чаще, полуреальность) то, что доселе казалось как бы вообще несуществующим, недостижимым или что было недодано судьбою или средой"¹. Такова, например, тоска Гумилева по мужественным, волевым характерам, противопоставляемым расслабленной цивилизации в стихотворении "Варвары":

Когда зарыдала страна под немилостью Божьей
И варвары в город вошли молчаливой толпою,
На площади людной царица поставила ложе,
Суровых врагов ожидала царица нагою.

.....

"Давно я ждала вас, могучие, грубые люди,
Мечтала, любуясь на зарево ваших становищ,
Идите ж, терзайте для муки расцветшие груди,
Герольд протрубит, не жалейте заветных сокровищ".

.....

Кипела, сверкала народом широкая площадь,
И южное небо раскрыло свой огненный веер,
Но хмурый начальник сдержал опененную лошадь,
С надменной усмешкой войска повернул он на север.

"Экзотизм" Гумилева — это не поза, а глубокая мировоззренческая позиция: испытывая неудовлетворенность наличной действительностью, он стремился найти "такую точку обзора, такую высь птичьего полета, откуда новейшая цивилизация показалась бы мгновенным и не очень значительным эпизодом в необъятном бытии человечества"² — характеристика, которую — с некоторыми уточнениями — можно было бы применить и к Готье.

Важны, однако, именно эти уточнения.

¹ По п л а в с к и й А. Николай Гумилев // "Вопросы литературы", 1986. №10. С. 102, 103.

² Р о д н я н с к а я И. Цит. соч. С. 23.

Прежде всего обратим внимание на то, что, в равной мере обладая "инстинктом предметности", Готье и Гумилев существенно по-разному воспринимают и переживают саму материальность внешнего мира. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить хотя бы цветовую гамму у обоих поэтов.

Готье явно тяготеет к полутонам, мягкости, своего рода акварельности: "розоватый" (rosé), "румяный" (vermeil), "алый" (nazarat), "серебристый" (argenté), "перламутровый" (nacré), "лазурный" (azuré), "голубоватый" (bleuâtre), "зеленоватый" (verdâtre), "желтоватый" (jauni, jaunâtre) — вот эпитеты, которым он отдает заметное предпочтение. Гумилев, напротив, всячески избегает оттенков, любит сочные, яркие, однотонные цвета, сталкивающиеся в резких контрастах: "белый", "черный", "золотой", "серебряный", "красный", "синий", "зеленый", "бронзовый" и т. п.; более того, не довольствуясь подобными красками, он всячески интенсифицирует их, как бы доводя до крика: "розовый" — "красный" — "пурпурный" — "багровый" — "кровавый"; или: "золотой" — "солнечный" — "огненный" — "пылающий" — "ослепительный".

Другое немаловажное различие между Готье и Гумилевым проходит по линии *покой / движение*. Мир Готье тяготеет к статике: излюбленный предмет изображения французского поэта — это неподвижные вещи или люди, застывшие в статуарных положениях, чтобы мы имели возможность без помех полюбоваться их живописным великолепием ("Этюды рук", "Зимние фантазии", "Феллашка", "Мансарда" и др.). Отдавая предпочтение глаголам, описывающим различные состояния, Готье, даже тогда, когда ему приходится изображать движение, делает это лишь затем, чтобы в конце концов персонаж принял эффектную позу, как это происходит в заключительной строфе стихотворения "Аполлония": "Quand relevant sa robe antique // Elle s'assoit au trépied d'or, // Et dans sa pose fatidique // Attend le Dieu qui tarde encor".

Эта тяга к статуарности объясняется по меньшей мере

двумя причинами. Во-первых, ориентированный на античную эстетику, Готье видит задачу искусства в том, чтобы выявить предмет во всей его полноте, то есть привести в соответствие с его эйдосом-первообразом, в котором завершается и как бы умирает всякая активность, деятельность: "прекрасный" предмет — это предмет, принявший наиболее совершенную и, следовательно, уже не подлежащую никаким изменениям "форму", подобно многочисленным скульптурам, упоминаемым в цикле "Зимние фантазии", или пифии из стихотворения "Аполлония", вся жизнь которой — и в храме и вне его — оправдана лишь тем, что целиком устремлена к тем вершинным моментам, когда осуществляется ее подлинное предназначение — восседая на золотом треножнике и вдыхая дурманящие испарения, выкрикивать пророчества; эта поза и есть "первообраз" дельфийской пифии, он-то и важен для Готье, его-то поэт и запечатлевает. Вторая причина (непосредственно связанная с первой) состоит в том, что, приобщаясь к вечным, идеально-прекрасным "эйдосам", тяготея к максимальному уплотнению и неподвижности, мир в поэзии Готье тем самым настойчиво стремится к исчерпанию противоречий, к снятию контрастов, к изживанию драматической напряженности.

Совсем не таков "яростный" мир Гумилева, где кричащие красками предметы существуют лишь затем, чтобы быть соединенными динамической связью движения, энергичными, экспрессивными глаголами:

Ярче золота вспыхнули дни,
И бежала Медведица-ночь.
Догони ее, князь, догони,
Зааркань и к седлу приторочь!

("Сказочное")

Будучи таким же театрально-декоративным, как и мир Готье, мир Гумилева, в отличие от него, не только не знает покоя, но и не стремится к нему. Гумилев не изжи-

вает, а всячески нагнетает драматизм. Если предел, к которому тяготеет Готье, — это описательность и созерцательность, то у Гумилева все построено на резком, подчас катастрофическом нарушении устойчивого состояния или течения жизни:

Созидающий башню сорвется,
Будет страшен стремительный лёт,
И на дне мирового колодца
Он безумье свое проклянет.

(“Выбор”)

Это дает толчок стремительному развитию внешнего или внутреннего сюжета. Гумилев совершает “побег в грезу” не так, как Готье. Его экзотика — это экзотика ежеминутного выбора, сознательного риска, отважной борьбы и преодоления преград, чреватого смертью. Если мир “Эмалей и камней” — это мир сублимированного настоящего и идеализированного прошлого, где все стремится к покою и созерцанию, то в мире “Жемчугов” предметы и люди находятся в состоянии постоянного напряжения, готового разразиться конфликтом; здесь господствует не “вечность” и нетленная “красота”, но красота мужества и воли, а также время, с какой-то судорожной надеждой устремленное из прошлого в будущее (не случайно, между прочим, Гумилев столь явное предпочтение отдает глаголам в будущем времени, повелительному или побудительному наклонениям) — время, сулящее “опасности”, “приключения”, время, открытое в неизведанное.

Отсюда еще одно различие между Готье и Гумилевым — различие в характере самой стилизации. Что касается Готье, то, достаточно ясно ощутив условность канонов своего времени, он, как мы видели, отнесся к ним как к материалу для несколько отчуждающей игровой (и в то же время “аналитической”) объективации; он тщательнейшим образом отделяет, полирует и шлифует этот материал, но при этом слегка его дефор-

мирует, занимаясь этой отделкой-деформацией не без лукавого любопытства, свойственного человеку, наблюдающему за собственной работой как бы со стороны. Что же до Гумилева, то он также прекрасно отдает себе отчет в условности стилизуемой им романтической топики, но при этом с предельной серьезностью стремится в нее вчувствоваться, вложить душу, сделать неотчужденным языком собственной мечты. Сам акт стилизации он переживает не без патетической торжественности, способной перерасти в подлинный трагизм, как, скажем, в заключительной строфе "Путешествия в Китай", где за описанием несколько буффонной фигуры "опытного в пьяном деле" и оттого "вечно румяного" "мэтра Рабле" следуют финальные строки, которые — благодаря звучащей в них "тоске по невозможному" — могли бы стать эпиграфом не только к творчеству, но и ко всей жизни Николая Гумилева:

Будь капитаном. Просим! Просим!
Вместо весла вручаем жердь...
Только в Китае мы якорь бросим,
Хоть на пути и встретим смерть!

* * *

Итак, не совпадая между собой, художественные системы Готье и Гумилева тем не менее в существенных пунктах пересекаются, и это делает их проницаемыми друг для друга. Вот почему Гумилев счастливо и, как кажется, без особого труда сумел избежать обеих отмеченных выше опасностей: с одной стороны, будучи вполне самостоятельной поэтической натурой, он не попал ни в "услужение", ни тем более в поэтическое "рабство" к Готье, а с другой — не проявил и своевольной "разнузданности" по отношению к переводимому автору. Гумилев держится с той необходимой (нередко дословной) близостью к тексту, которая, не стесняя поэта требо-

ваниями "буквализма", вместе с тем позволяет донести до читателя неискаженный смысл подлинника. Лишь в одном отношении у Гумилева проскальзывает тенденция к некоторому насилию над оригиналом — когда он подменяет "пастели" Готье своей собственной техникой яркой раскраски изображаемых предметов (так, в "Тайном сродстве" Готье пишет: "Deux ramiers... aux pieds rosés"; Гумилев переводит: "С ногами, красными, как кровь"; у Готье: "La fleur sur la bouche vermeille"; у Гумилева: "И на губах цветок пурпурный"; в "Поэме женщины" сказано: "velours pasarat"; у переводчика: "Темно-пурпурные шелка" и т. п.). Однако в целом Гумилев хорошо чувствует колорит подлинника и лишь изредка (в основном в начале сборника) допускает подобные цветовые "смещения".

И все же его перевод весьма неровен. Что касается оригинала, то это тот самый случай, когда стихи льются настолько непринужденно, что начинают восприниматься не как продукт "искусства" (искусности), а как явление "природы", как нечто само собой разумеющееся, чего попросту не могло не быть. В переводе Гумилева, безусловно, есть целый ряд строф, которые по образности, стилистике и естественности выражения вполне могут сравниться с прозрачной ясностью подлинника:

И жемчуга столицы дождей,
Молочно-белы и горды,
Сияя на атласной коже,
Казались каплями воды.

(*"Поэма женщины"*)

И тем не менее не стоит лукавить: вряд ли кто-нибудь, читавший ранее или впервые читающий ныне перевод Гумилева, решится положить руку на сердце признать его "безупречным": калькированные выражения, неточно найденные слова, не всегда удачные рифмы и неловкие enjambements, тяжелые синтаксические конструкции —

все это оставляет впечатление изрядной неряшливости и рыхлости¹, удивительной для автора "Жемчугов" и "Огненного столпа".

Многие строфы при всем желании не назовешь плодом (пусть неудачным) "любящей борьбы" переводчика с оригиналом. Вероятно, однако, что в данном случае такая борьба Гумилева как раз и не слишком-то волновала: Готье, скорее, был важен для него не столько как поэт-соперник, сколько как соратник в совершенно иной схватке — в схватке акмеизма с "преодолеваемым" символизмом, причем силы сторон, особенно на первых порах, были далеко не равны. Молодые Гумилев и Мандельштам не могли не чувствовать, что бросают вызов не просто одной из многочисленных литературных "школ", а чему-то гораздо большему — некоему эпохальному, имеющему глубокую философскую подоснову умонастроению в искусстве, которому они могли противопоставить лишь несколько не лишенных резона, но как бы "локальных" по своему смыслу тезисов. В период "Цеха поэтов" и журнала "Аполлон" акмеисты посматривают на символизм снизу вверх, и в их задиристых выпадах можно различить если не робость, то по крайней мере толику неуверенности².

¹Ср., например: "Классическое, погружает // Ундин в глубины их озер, // И в Дельфах пифия лишь знает // Согласовать с ним гордый взор" ("Аполлония"); "Шакал мяучит, убегая, // И, в воздухе круги чертя, // Голодный коршун, запятая // В лазури, плачет, как дитя" ("Луксорский обелиск").

²Много позже, уже в 60-е гг., неизжитые отголоски этого чувства проскользнули в одной из реплик А. Ахматовой, переданной А. Найманом: «Однажды, к слову, я сказал, что если объединения, то поэтическая платформа — и программа — символистов во всяком случае грандиозней акмеистической, утверждавшей главным образом на противопоставлении символизму. Ахматова — глуше, чем до сих пор, и потому значительней — произнесла: "А вы думаете, я не знаю, что символизм, может быть, вообще последнее великое направление в поэзии". Возможно, она сказала даже "в искусстве"» (Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой // "Новый мир", 1989. №1. С. 168.).

Чтобы обрести эту недостающую уверенность, они должны были, не довольствуясь опорой на собственные силы, найти в истории литературы достаточно авторитетные прецеденты, созданные писателями, у которых стихия "предметности" играла бы заметную, а по возможности и решающую роль. Вот откуда этот странный, по первому впечатлению, ряд, выстроенный Гумилевым: Вийон — Рабле — Шекспир — Готье. Для самих же акмеистов он был совершенно логичен, подтверждением чему может служить статья Мандельштама "Франсуа Виллон"¹ (опубликованная в том же году, что и "Наследие символизма и акмеизм" Гумилева), где прямо говорилось, что в разрушении "оранжерейной" поэзии символистов творчество Вийона способно сыграть ту же роль, какую в свое время оно сыграло в разрушении "риторической школы" высокого Средневековья.

Готье был нужен Гумилеву в том же качестве, в каком Вийон нужен был Мандельштаму. При этом, ощущая родственность своего таланта таланту Готье, Гумилев получил редкую в практике поэтического перевода возможность слиться с художественной волей переводимого автора, заговорить с ней в унисон; ему не пришлось делать над собой усилий, чтобы "заразиться" образностью Готье — он гляделся в нее как в зеркало. Однако именно в этом (в отсутствии ежесекундной необходимости "завоевывать" оригинал) и таилась, по всей видимости, подлинная опасность — опасность вступить на путь наименьшего сопротивления.

"Вещная" сторона лирики Готье, "уплотнение" реальности через слово дались Гумилеву без особого труда, но ведь задача акмеизма заключалась не просто в таком уплотнении, а в восстановлении нарушенного символистами "равновесия", прежде всего "равновесия между стихом и словом, между стихией ритма и стихией слова" (как пояснял несколько позже Б. М. Эйхен-

¹ См.: Мандельштам О. Франсуа Виллон // "Аполлон", 1913. № 4.

баум¹⁾). В "Жемчугах" Гумилев безусловно стремится к такому равновесию и по большей части его достигает, когда, например, подкрепляет энергичную динамику зрительного ряда упругими, твердыми ритмами и отточенным синтаксисом:

Князь вынул бич и кинул клич —
Грозу охотничьих добыч,

И белый конь, душа погонь,
Ворвался в стынушую сонь.

("Охота")

В переводе же "Эмалей и камней" это равновесие нередко оказывалось нарушенным, причем не в пользу "стиха". Увлеченный желанием продемонстрировать всем (и в первую очередь литературным противникам) образец "предметной" поэзии, Гумилев далеко не всегда с одинаковой заботой относится к звуковой и синтаксической благоустроенности строк и строф своего перевода; это, пожалуй, главный упрек, который можно ему предъявить.

И все же, хотя переводы Гумилева небезупречны, хотя не всегда (вопреки мнению Мандельштама) их можно назвать вполне "русскими" "Эмалями и камнями", они обладают одним неоспоримым достоинством: Гумилев-переводчик говорит на образном языке, близком к тому, на котором говорил сам Готье. А это в истории перевода бывает нечасто.

Г. Косиков

¹⁾ Э й х е н б а у м Б. Анна Ахматова. Опыт анализа // Э й х е н б а у м Б. О прозе. О поэзии. Л., Художественная литература, 1986. С. 382.



КОММЕНТАРИИ

При жизни Готье вышло шесть изданий сборника:

1. Émaux et Camées. P., Eugène Didier, 1852.

Это издание включает 18 стихотворений: *Préface, Affinités secrètes, Le Poème de la femme, Étude de mains, Variations sur le Carnaval de Venise, Symphonie en blanc majeur, Coquetterie posthume, Diamant du cœur, Premier sourire du printemps, Contralto, Cærulei oculi, Rondalla, Nostalgies d'obélisques, Vieux de la vieille, Tristesse en mer, A une robe rose, Le Monde est méchant, Inès de las Sierras.*

2. Émaux et Camées. P., Eugène Didier, 1853.

20 стихотворений: к 18 предыдущим добавлено 2: *Les Accroche-cœurs, Les Néréides.*

3. Émaux et Camées. P., Poulet-Malassis et de Broise, 1858.

27 стихотворений: 18, входящих в первое издание, плюс 9 новых, переданных Готье издателю Пуле-Маласси: *Odelette anacréontique, Fumée, Apollonie, L'Aveugle, Lied, Fantaisies d'hiver, La Source, L'Art, Bûchers et Tombeaux.* 2 стихотворения, включенных в издание 1853 г. (*Les Accroche-cœurs, Les Néréides*), не вошли в издание 1858 г., поскольку Пуле-Маласси, по всей видимости, не знал о втором издании сборника. Сам Готье, находившийся в то время в России, не имел возможности исправить ошибку; погрешностью, нарушающей волю автора, является и то, что стихотворение *L'Art* оказалось на предпоследнем месте, тогда как "оно должно было завершать сборник, мысль которого резюмирует" (письмо Готье к Э. Фейдо от 11 февраля 1859 г.).

4. Émaux et Camées. P., Charpentier, 1863.

38 стихотворений: все стихотворения, вошедшие в издания 1852, 1853 и 1858 гг., к которым добавлены: *Le Souper des armures, La Montre, La Rose-thé, Carmen, Ce que disent les hirondelles,*

Noël, Les Joujoux de la morte, Après le feuilleton, Le Château du Souvenir.

5. Émaux et Camées. P., Charpentier, 1866.

39 стихотворений: к 38 предыдущим добавлено еще одно: *La Nue*.

6. Émaux et Camées. P., Charpentier et Cie, 1872.

Это так называемое "окончательное издание", вышедшее за несколько месяцев до смерти Готье. Оно включает 47 стихотворений — 39, вошедших в издание 1866 г., и 8 новых: *Camélia et Pâquerette, La Fellah, La Mansarde, Le Merle, La Fleur qui fait le printemps, Dernier vœu, Plaintive tourterelle, La Bonne soirée*.

Французский текст печатается по изд.: Gautier T. Émaux et Camées. Texte définitif (1872) suivi de Poésies choisies avec une esquisse biographique et des notes par Adolphe Boschot. P., Garnier, 1954.

Перевод Н. Гумилева печатается по изд.: Готье Т. Эмали и камни. Пер. Н. Гумилева. СПб., 1914.

Перевод В. Бенедиктова печатается по изд.: Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., Советский писатель, 1983. — (Б-ка поэта. Большая серия. 2-е изд.).

Переводы О. Чюминой печатаются по изд.: Чюмина О. Н. Стихотворения. 1892 — 1897. СПб. Тип. "Гуттенберг", 1897.

Переводы В. Брюсова печатаются по изд.: Французские лирики XIX века. Перевод в стихах и био-библиографические примечания Валерия Брюсова. СПб., Пантеон, 1909; Западноевропейская лирика. Л., Лениздат, 1974; Торжественный привет. Стихи зарубежных поэтов в переводах Валерия Брюсова. М., Прогресс, 1977.

Переводы Б. Лившица печатаются по изд.: Лившиц Б. Французские лирики XIX и XX веков. Л., Художественная литература, 1937.

Переводы В. Левика печатаются по изд.: Из европейских поэтов. Переводы Вильгельма Левика. М., Художественная литература, 1967.

Остальные переводы печатаются по изд.: Готье Т. Избранные произведения в двух томах. Т. I. М., Художественная литература, 1972.

По первоначальному замыслу "Эмали и камней" должны были открываться "Посвящением" (см. ниже); написанное около 1863 г., "Посвящение", однако, не вошло ни в одно из прижизненных изданий сборника.

UNE DÉDICACE DES «ÉMAUX ET CAMÉES»
À M. ET Mme M***

Il manque aux «Émaux et Camées»
Un médaillon où mon burin
Eût gravé vos têtes aimées;
Mais j'ai trop tôt fermé l'écrin.

S'il se rouvre, sur une agathe
Au fond laiteux, mêlé de roux,
Ma pointe la plus délicate
Sculptera l'épouse et l'époux.

Les cheveux, de la blonde tranche
En ondes d'or suivront le fil,
Et les chairs, sur la veine blanche
Découperont leur pur profil.

Elle, pour qu'on la reconnaisse
Aura l'esprit dans la beauté,
La grâce aiguisée en finesse,
Avec un air de volupté.

Lui, malgré sa lèvre qui raille
Ce charme où tous les cœurs sont pris,
Et, pour achever la médaille,
Un coup de fer aux favoris.

PRÉFACE
ПРЕДИСЛОВЬЕ

Впервые опубликовано в издании *Émaux et Camées* (1852).
30. ...*Je «Divan occidental»* – Имеется в виду лирический сборник Гёте "Западно-восточный диван" (1819). Начало сборнику было положено весной 1814 г., когда Гёте, потрясенный событиями наполеоновских войн и пребывая в угнетенном состоянии духа, уединился в тихом городке Берке неподалеку от Веймара. Стремясь укрыться от политических бурь, поэт следовал своему излюбленному девизу: "Едва в мире политики вырисовывалась серьезная угроза, как я тотчас своевольно уносился мыслями как можно дальше". На этот раз местом "духовной эмиграции" был избран средневековый Восток: в Берке Гёте познакомился с "Диваном" персидского поэта Шамседдина Хафиза (ок. 1325 – 1389 или 1390), вдохновившего его на вольное

подражание. "Бегство" на Восток Гёте трактовал как возрождение к "новой жизни", о чем писал в стихотворении "Гиджра", открывающем "Западно-восточный диван":

Север, Запад, Юг в развале,
Пали троны, царства пали.
На Восток отправься дальный
Воздух пить патриархальный,
В край вина, любви и песни,
К новой жизни там воскресни.

(Пер. В. Левика)

Сравнивая свою ситуацию с гётевской, Готье подразумевает, что первые стихотворения, вошедшие в "Эмали и камни", писались в условиях Второй республики (1848 – 1852) и имели целью создать некий духовный противовес "развалу" социальной жизни.

...*Nisami* – По мере привыкания к поэтическому климату Востока Гёте обращался не только к "Дивану" Хафиза, но и к произведениям других поэтов, в частности к "Пятерице" Низами Гянджеви (ок. 1141 – ок. 1209).

....*Hudhud* – Согласно Корану (27-я сура), птица худхуд (удод) носила письма царя Сулаймана к царице Сабы Билкис. Худхуд упоминается в стихотворении Гёте "Привет". Источником сведений о легендарном удоде могла послужить Готье и эрудитская работа Жерара де Нерваль "Балкис. История Царицы Утра и Сулаймана, Царя Мудрецов". Собрав в ней персидские поэтические предания о птице Худхуд (Хаддад), Нерваль включил ее в виде отдельной главы в свою очерковую книгу "Путешествие на Восток" (1851).

AFFINITÉS SECRÈTES ТАЙНОЕ СРОДСТВО

Впервые в *Revue des Deux Mondes* от 15 января 1849 г.

Пантеистическая тема, которой Готье отдает дань в этом стихотворении, была чрезвычайно модной во французской поэзии 40-х гг. прошлого века. Ее популяризации способствовал, в частности, друг Готье поэт и издатель Арсен Уссе (1815 – 1896) в таких произведениях, как "Бог, пантеистическая ода" (1841), "Небо и земля, пантеистическая история" (1846) и др. Приобретая в

1843 г. журнал "Л'Артист" (где Готье стал исполнять обязанности главного редактора), Уссе предоставил его страницы для пропаганды пантеистических идей: именно в "Л'Артист" были опубликованы знаменитые "Золотые стихи" (1845) Жерара де Нерваля.

Помимо обычных для Готье реминисценций из области изобразительных искусств, в стихотворении содержатся аллюзии на некоторые биографические обстоятельства; так, в 3-й строфе – аллюзия на путешествие в Испанию, совершенное Готье в 1848 г., в 4-й – на путешествие в Венецию и любовь к экзальтированной итальянке Марии Маттеи; в 8-й строфе Готье вспоминает о своей рано умершей подруге Сидализе (см. коммент. к с. 166), в 11-й – о морском путешествии с женой, Эрнестой Гризи; заключительная строфа представляет собой признание в любви к Карлотте Гризи (см. коммент. на с. 333).

32. *Généralife* – Хенералиф (по-арабски – Дворец Архитектуры), дворец мавританских халифов в Гранаде, расположенный недалеко от Альгамбры и знаменитый своими фонтанами.

Boabdil – Боабдил (Абу Абала), правивший под именем Мухаммеда XI, последний мавританский правитель (1482 – 1492) Гранады.

LE POÈME DE LA FEMME ПОЭМА ЖЕНЩИНЫ

Впервые в *Revue des Deux Mondes* от 15 января 1849 г.

Хотя в стихотворении дается обобщенный образ Женщины, в отдельных строфах без труда угадываются приметы знаменитых современниц Готье, поелуживших ему прототипами. Так, в 3-й строфе речь идет о светской куртизанке Терезе Лахман (1819 – 1884) по прозвищу Пайва, которая была постоянной посетительницей Итальянского театра, где имела свою ложу. Образы 15-й строфы навеяны скульптурой Жана Батиста Клезенже (1814 – 1883) "Женщина со змеей", выставленной в 1847 г. в Салоне. Скульптура имела скандальный успех, так как посвященные без труда узнавали ее модель – совершенно обнаженную г-жу Сабатье по прозвищу "Председательница" (см. о ней коммент. на с. 340).

36. *Marbre de Paros* – Парос – остров в Южной Греции, с древности славившийся мрамором.

...aux Italiens – Имеется в виду Théâtre-Italien, парижский оперно-драматический театр (существовал с 1801 по 1878); его репертуар состоял в основном из произведений итальянских мастеров.

38. *Apelle* – Аппеллес (IV – начало III в. до н. э.), греческий живописец; ему принадлежат изображения богинь.

Cléomène – Клеомен (III в. до н. э.), афинский скульптор, изваявший Венеру Медицейскую.

Vénus Anadyomène – Венера Анадиомена, "появившаяся на поверхности моря", или Афродита (Пенорожденная). Согласно Гесиоду ("Теогония", 176 – 206), она родилась из крови оскопленного Кроном Урана и морской пены:

Член же отца детородный, отсеченный острым железом,
По морю долгое время носился, и белая пена
Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене
В той зародилась. Сначала подплыла к Киферам священным,
После же этого к Кипру пристала, омытому морем.
На берег вышла богиня прекрасная. Ступит ногою –
Травы под стройной ногой вырастают. Ее Афродитой,
"Пенорожденной", еще "Кифереей" прекрасновенчанной
Боги и люди зовут, потому что родилась из пены.

(Пер. В. Вересаева)

Phidias – Фидий (ок. 490 – 431 до н. э.), греческий скульптор.

40. *l'odalisque d'Ingres* – Имеется в виду "Лежащая одалиска" (1825), одна из наиболее известных картин Жана Огюста Доминика Энгра (1780 – 1867), французского живописца, портретиста, гравера, друга Готье. Одалиски – младшие жены султана, служащие ему по выбору.

ÉTUDE DE MAINS ЭТЮД РУК

Впервые в *La Presse* от 4 августа 1851 г.

В названии цикла Готье лишний раз стремится подчеркнуть важную для него мысль о родстве поэзии и живописи: "этюды рук" были излюбленными упражнениями художников романтической эпохи.

I. Impéria I. Империя

42. *Impéria* – римская куртизанка XVI в., знаменитая красотой и умом; жила в период понтификата Юлия II (1503 – 1513) и Льва X (1513 – 1521). Бальзак вывел ее в "Озорных рассказах" ("Красавица Империя", "Замужество красавицы Империи").

Aspasie – Аспазия (ок. 470 до н. э. – ?), греческая гетера, жена Перикла; отличалась красотой и умом; дом ее служил местом собрания даровитейших людей Афин.

Cléopâtre – Клеопатра (69 – 30 до н. э.), последняя царица Египта из династии Птолемеев; в переводе Н. Гумилева вместо нее упомянута нимфа Калипсо.

II. Lascenaire II. Ласеиер

Пьер Франсуа Ласенер – убийца, гильотинированный 19 января 1836 г.; процесс над ним привлек широкое общественное внимание, а личность – настойчивое любопытство. По утверждению писателя Максима Дю Кана (1822 – 1894), он одно время хранил мумифицированную руку Ласенера у себя дома, где ее якобы видел Готье. Впрочем, Готье мог видеть ее не только у Дю Кана, так как рука, вероятно, побывала во многих частных коллекциях. Виктор Кошинá оставил ее описание: "...мне показали руку Ласенера, сохраненную с помощью медицинских препаратов. Ничего более бесстыдного я в жизни своей не видывал! Эта мумифицированная рука с жилистыми и *бесцеремонными* пальцами, плоскими и расширяющимися на концах, словно головы молодых змей, дает представление о вкрадчивой жестокости этого человека. Когда видишь эту руку на свету, то кажется, что от волос, ее покрывающих, исходит кровавое сияние. Она напоминает останки какого-нибудь египетского захоронения и еще источает едкий и острый запах того чудесного бальзама, благодаря которому до сих пор сохраняется во всей своей отвратительной реальности. Да, это та самая рука, которая способна душиить старух в их постелях..." (Цит. по: *Poésies complètes de Théophile Gautier, publiées par R. Jasinski. P., Nizet, 1970. V. I. P. XCIX.*)

Ласенер, убивший, в частности, собственного приятеля и его мать, во время следствия и на суде держался с вызывающим цинизмом и пытался изобразить свои преступления как протест

исключительной личности против фальшивой морали общества. Ту же идею он развивал в книге "Воспоминания, откровения и стихотворения", написанной в тюрьме и опубликованной в год его казни. Готье не признает за Ласенером поэтического дара.

46. *les Caprées* – Капреи (ныне Капри), остров в Тирренском море; римский император Тиберий (42 до н. э. – 37 н. э.; прав. 14 – 37 н. э.) в последние годы жизни удалился на Капреи, где предавался утонченному разврату (см.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. М., Наука, 1964. С. 91 – 93), благодаря чему название острова стало символом всяческой разнузданности и нечестия.

Manfred – Очевидно, имеется в виду Манфред, герой одноименной драматической поэмы (1817) Байрона, буруемый демоническими страстями.

VARIATIONS SUR LE CARNAVAL DE VENISE ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ

Впервые в *Revue des Deux Mondes* от 15 апреля 1849 г.

Тема Венеции и венецианского карнавала была чрезвычайно популярна в среде романтиков; увлекла она и Готье (хотя сам он впервые посетил Венецию лишь через год после написания "Вариаций"); одним из неосуществленных его замыслов была книга "Венеция в XVIII веке". Во французской поэзии стихотворный цикл Готье предвещает "Галантные празднества" П. Верлена.

До начала XIX в. Венеция была городом, где карнавал справлялся с особой пышностью (позже "столицей" итальянских карнавалов стал Рим), начинаясь с дня св. Стефана (26 декабря) и продолжаясь до Чистой Среды (на первой неделе великого поста).

I. Dans la rue

I. На улице

50. *Paganini* – Речь идет о "Венецианском карнавале" – скрипичных вариациях Никколо Паганини (1782 – 1840) на тему итальянской народной песни. В 1843 – 1844 гг. ученик Паганини, скрипач Сивори исполнял в Париже "Вариации" на тему "Венецианского карнавала", вызвавшие восторженные отзывы Готье. Воспоминания о гастролях Сивори ожили весной 1849 г., когда "Вариации" вновь зазвучали в Париже под смычком Терезы Миланелло.

II. Sur les lagunes

II. На лагунах

...*La Vénus de l'Adriatique* – см. коммент. к с. 38.

52. *pizzicato* – пиццикато, извлечение звуков из струн смычкового инструмента щипком пальцев, без помощи смычка.

Canaletto – Каналетто, прозвище итальянского живописца и гравера Антонио Канале (1697 – 1768); уроженец Венеции, Каналетто прославился изображениями своего родного города.

III. Carnaval

III. Карнавал

Arlequin – зд. и далее перечислены персонажи итальянской комедии, ставшие традиционными карнавальными масками; Арлекин – тип ловкого, лукавого, вкрадчивого и остроумного слуги; носил плотно облегающий костюм, сшитый из разноцветных треугольных лоскутов, черную полумаску и деревянный меч у пояса.

Cassandra – Кассандр, тип доверчивого старика, которого дурачат окружающие; Гумилев ошибочно принял его имя за женское.

Pierrot – Пьеро, один из слуг-шутов; хитрец, притворяющийся простаком, он нередко выступал как соперник Арлекина. Пьеро одет во все белое, а лицо его густо обсыпано мукой или пудрой. Во Франции он приобрел популярность еще в XVII в. В эпоху Реставрации его воскресил на сцене знаменитый мим Гаспар Дебюро (1796 – 1846), для которого Готье написал пантомиму *Pierrot posthume*.

54. *le Docteur* – Доктор, тип ученого педанта; носил одежду доктора болонской Академии и говорил на болонском наречии; на нем маска с черным носом и красными бакенбардами, часто очки.

Polichinelle – Полишинель (ит. Пульчинелло), слуга-неаполитанец; длинноносый горбун с пронзительным голосом, пьяница и забияка.

Trivelin – Тривелин, тип зловердного слуги-интригана.

Colombine – Коломбина; в итальянской комедии фигурирует как дочь Кассандра или Панталоне; симпатичная, кокетливая и остроумная служанка.

Scaramouche – Скарамуш, тип хвастуна и труса, соединивший в себе черты циничного Арлекина и заносчивого Капитана.

...l'arpège (муз.) – арпеджио, прием исполнения звуков аккорда не одновременно, а вразбивку, обычно начиная с нижнего тона.

IV. Clair de lune sentimental IV. Сентиментальный свет луны

54. *Saint-Marc* – площадь Св. Марка, покровителя Венеции.
Lido – Лидо, группа островов, образующих косу и прикрывающих рейд Лидо в порте Венеции.

SYMPHONIE EN BLANC MAJEUR СИМФОНИЯ ЯРКО-БЕЛОГО

Впервые в *Revue des Deux Mondes* от 15 января 1849 г.
Вдохновительницей и адресатом стихотворения явилась Мария Калержи, урожденная графиня Нессельроде (1822 – 1874). Поселившись в Париже в 1845 г., она в течение пятнадцати лет привлекала к себе всеобщее внимание красотой и элегантностью. К посвященным ей стихам Готье, равно как и к их автору, светская красавица осталась равнодушной.

56. ...*les contes du Nord, // Sur le vieux Rhin, des femmes-suyves...* – мотив, часто варьируемый в романтической поэзии (у Гейне, Саути и др.).

60. *Séraphita* – Серафита, таинственное существо (одновременно земное создание и ангел, мужчина и женщина) из одноименной повести (1835) О. Бальзака, действие которой происходит в деревушке, затерянной в снегах Норвегии. В "Серафите" (входящей в "Философские этюды") отразилось увлечение Бальзака мистикой шведского духовидца Эмануэля Сведенборга (1688 – 1772).

COQUETTERIE POSTHUME ЗАГРОБНОЕ КОКЕТСТВО

Впервые в *La Presse* от 4 августа 1851 г. Посвящено Марии Маттен.

62. *(le) kh'ol* – сурьма, с помощью которой на Востоке красят брови и веки.

64. «*Pater*» – «*Pater Noster*» ("Отче наш"), название по первым словам молитвы, которой Христос научил учеников (Матфей, 6:9).

«*Ave*» – «*Ave Maria*» ("Радуйся, Мария!") – молитва, начинающаяся словами, которыми архангел Гавриил возвестил Марии о зачатии сына (Лука, 1:28).

DIAMANT DU CŒUR АЛМАЗ СЕРДЦА

Впервые в *Revue de Paris* от 1 января 1852 г.

66. *Cendrillon* – Золушка, героиня одноименной сказки Шарля Перро (1628 – 1703).

Ophyr – Офир, полулегендарная страна на Востоке (возможно, на территории современного Йемена, в Индии или в Африке), богатая всякого рода драгоценностями. Согласно Библии, Соломон отправлял своих подданных в Офир за золотом (3-я кн. Царств, 9:28; 22:48).

PREMIER SOURIRE DU PRINTEMPS ПЕРВАЯ УЛЫБКА ВЕСНЫ

Впервые в *La Presse* от 7 апреля 1851 г.

CONTRALTO КОНТРАЛЬТО

Впервые в *Revue des Deux Mondes* от 15 декабря 1849 г. Однако, скорее всего, стихотворение было написано несколькими годами раньше. Оно посвящено певице Эрнесте Гризи, ставшей женой Готье. Эрнеста подвизалась на подмостках Итальянского театра; Готье был пленен ее голосом.

70. *Salmacis* – нимфа Салмакида, влюбившаяся в прекрасного юношу Гермафродита. Во время купания Салмакида приблизилась к девственнику, который был напуган ее страстными ласками; тогда Салмакида взмолилась к богам, и они слили ее с Гермафродитом в одно двуполое существо (см.: Овидий. Метаморфозы, IV, 210 – 217).

72. *C'est Roméo, c'est Juliette...* – Речь идет о партиях Ромео

и Джульетты в опере Винченцо Беллини (1801 – 1835) "Капулетти и Монтекки" (1830). В первой половине XIX в. ряд мужских партий (прежде всего партий юношей) нередко поручали женщинам, обладавшим контральто или меццо-сопрано. Так, при постановке в 1832 г. в Итальянском театре оперы "Капулетти и Монтекки" партию Джульетты исполняла будущая жена Готье Эрнеста Гризи, а партию Ромео – ее двоюродная сестра Джудитта Гризи (1805 – 1840).

Cendrillon – Вероятно, имеется в виду опера Джоаккино Россини (1792 – 1868) "Золушка" (1817).

74. *Arsace* – Арзас, герой оперы Д. Россини "Семирамида" (1817).

Tancredi – Танкред, герой одноименной оперы (1813) Д. Россини.

Desdemona – Дездемона, героиня оперы Д. Россини "Отелло" (1816), поставленной на сюжет одноименной трагедии У. Шекспира, где Дездемона поет старинную английскую песню об иве (IV, 3).

Zerline bernant Mazetto – В опере Вольфганга Амадея Моцарта (1756 – 1791) "Дон Жуан" (1787) герой соблазняет служанку Церлину, невесту крестьянина Мазетто.

Malcolm – Малькольм, персонаж трагедии У. Шекспира "Макбет", на сюжет которой Джузеппе Верди (1813 – 1901) написал одноименную оперу (1847).

...*Kaled d'un Lara*.. – Калед, Лара, персонажи поэмы Байрона (1788 – 1824) "Лара" (1814); Калед (возможно, переодетая Гюльнара, героиня поэмы Байрона "Корсар", 1814) – паж Лары. На байроновский сюжет было написано несколько опер, одна из которых принадлежала М. Сальви (1843).

CAERULEI OCULI

Впервые в *Revue de Paris* от 1 января 1852 г. В стихотворении воспеваются "лазурные очи" (caerulei oculi) Карлотты Гризи.

Карлотта Гризи (1819 – 1899) – знаменитая в 40-х гг. балерина, сестра жены Готье Эрнесты Гризи и кузина оперной певицы Джулии Гризи (см. коммент. на с. 349); танцевала в театрах Италии, Парижа, Лондона и Санкт-Петербурга. Готье, познакомившийся с Карлоттой в конце 30-х гг., написал для нее либретто двух балетов – "Жизель" (на музыку А. Адана) и "Пери".

Свое чувство (вероятно, неразделенное) к "женщине с фиалковыми глазами" Готье пронес до конца: последнее слово, которое пытался написать умирающий, было "Карлотта".

76. *La coupe du roi de Thulé* — Фуле (Туле), согласно эллинистическо-римской географии (Пифей, Страбон), сказочная страна, находящаяся в шести днях плавания к северу от Британии, самая северная из обитаемых земель (возможно, Исландия или северо-западное побережье Норвегии). Готье имеет в виду песню о Фульском короле, написанную Гёте в 1774 г. В первой части "Фауста" ("Вечер") ее поет Маргарита: Фульский король перед кончиной бросил свой золотой кубок (память о возлюбленной) в морскую пучину, чтобы он никому не достался.

L'autre perle de Cléopâtre — По свидетельству Плиния Старшего (23 — 79), Клеопатра, владевшая двумя жемчужными серьгами, одну из жемчужин, стоимостью 10 миллионов сестерциев, растворила в уксусе и выпила на пиру с Антонием (в рассказе Готье "Ночь, дарованная Клеопатрой" (1845) героиня растворяет жемчужину в кубке с ядом, который выпивает влюбленный в Клеопатру рыбак). Вторая жемчужина после смерти царицы была доставлена в Рим, распиlena надвое и вставлена в ушные раковины статуи Венеры на Пантеоне.

...l'anneau de Salomon... — Соломон, один из популярных героев иудаистских и мусульманских преданий, владел чудесным перстнем, дававшим ему силу и власть. По мусульманской версии, Соломон (Сулайман) на 40 дней утратил перстень, которым завладел шайтан Сахр. Сахр потерял перстень в море, а Сулайман нашел его в чреве рыбы и вновь вернул себе власть.

Dans la ballade de Schiller... — Имеется в виду баллада Ф. Шиллера "Кубок" (1797).

Harald Harfagar — Гаральд Прекрасноволосый (ок. 850 — 933), норвежский король, воспетый в легендах. Готье имеет в виду стихотворение Гейне "Король Гаральд Гарфагар", где рассказывается, как Гаральд, попавший после смерти в хрустальный дворец сирены на морском дне, тоскует о земной жизни и о подвигах.

RONDALLA РОНДАЛЛА

Впервые в *La Presse* от 6 января 1847 г. в составе новеллы "Милитона".

Пастишируя (не без иронии) арагонскую любовную серенаду (rondalla), Готье, следуя романтической традиции, стремится воспроизвести "местный колорит" Испании, который заимствует из книги А. Дембовского "Два года в Испании и Португалии" (1841).

NOSTALGIES D'OBÉLISQUES НОСТАЛЬГИЯ ОБЕЛИСКОВ

Впервые в *La Presse* от 4 августа 1851 г.

В "Ностальгии обелисков" профессиональное мастерство стихотворца и "рисовальщика словами" органично сочетается с эмоциональным проникновением в предмет изображения.

В стихотворении речь идет о двух обелисках, возвышавшихся перед фасадом Луксорского храма в Фивах, посвященного фиванской триаде (Амону-Ра, Мут и Хонсу). Во время празднования нового года Амон следовал из Карнака в Луксорский храм по аллее сфинксов, которые и упоминаются Готье. Сами обелиски, установленные при Рамсесе II (прав. 1317 – 1251 до н. э.), являлись символами солнца, были покрыты иероглифическими надписями и высотой превышали 20 м. В 1831 г. один из обелисков был подарен Мехметом-Али французскому королю Луи Филиппу. При помощи подъемных устройств, сконструированных инженером Леба, обелиск погрузили на корабль и доставили во Францию, где в 1836 г. воздвигли на площади Согласия в Париже.

Сюжетом стихотворного диптиха Готье обязан своему младшему другу Максиму Дю Кану, который в письме от 31 марта 1850 г. писал: "В Луксоре, о Тео, я много думал о Вас, и вот почему. Потому что там стоит обелиск. Вам, вероятно, это покажется странным <...>, но все же именно обелиск заставил меня подумать о Вас. Прежде их было два. Но вот прибыл г-н Леба со своими матросами; он сбросил обелиск Рамсеса на песок, обмотал его веревками, словно болонскую колбасу, втащил к себе на корабль и в конце концов установил на площади Согласия, чтобы на него могли глазеть пассажиры проезжающих фиакров и депутаты, направляющиеся к себе в Палату, – слабое утешение! Оказавшись в разлуке, эти два сиамских монолита безнадежно тоскуют друг о друге. Тот, что в Луксоре, завидует

судьбе своего брата, очутившегося в дальних странах, где дождевые струи освежают его главу и где ему не приходится вечно созерцать зрелище отполированных ветром колоссов, смотреть на лачуги феллахов, на бесконечные песчаные равнины и на лодки, поднимающиеся вверх по Нилу под белыми парусами.

Перелетные птицы из Гелиополя

поведали ему, что из этого города обелиски тоже вывезены, на этот раз в Рим; и он мучается вопросом: почему же он остался один? Разве он менее красив, чем все прочие? Почему им пренебрегли и не взяли вместе с остальными? — А Парижский обелиск терзается еще сильнее и с рыданиями вспоминает о *родном крае*. Пока его везли на корабле, ему мнилось, что его используют вместо балласта, и оттого он чувствовал себя глубоко уязвленным; его, сына самого Рамсеса, мимо которого жрецы проносили священные ладны, унизили, заставили выполнять роль каких-то булыжников! И теперь, стоя посреди холодной площади, под струями нашего осеннего дождя и хлопьями зимнего снега, он дрожит от стужи в своем гранитном одеянии. Он тоскует по жаркому египетскому солнцу, по свежим дуновениям ветерка, пробежавшего по ветвям пальмовых деревьев, в окружении которых он стоял. Он тоскует о широкой реке, чьи воды ежегодно разливались и вновь сходили; Сена, где водятся одни пескари, кажется ему отвратительной, тогда как в Ниле водилось множество крокодилов. Теперь ему на голову усаживаются нахальные воробы, а ведь когда-то на ней восседали орлы и белокрылый ястреб с желтыми лапами. Он чувствует себя униженным, словно реакционер, вынужденный разделить трапезу с социалистами, и ему хочется возвратиться к своему Луксорскому брату, рассказать о том удивительном ничтожестве, которое ему довелось наблюдать в стране франков. Вот почему я подумал о Вас, дорогой Мэтр; я усмотрел здесь *прекрасный сюжет* для стихотворения, или, как говаривали мы в школьные годы, *удачную тему*, которую Вам и посылаю. Если Вы вдруг напишете такое стихотворение, то, пожалуйста, посвятите его мне; для меня это будет своего рода лаской со стороны старушки Музы” (Цит. по кн.: *Poésies complètes de Théophile Gautier, publiées par R. Jasinski. V. I. P. CV*).

I. L'Obélisque de Paris

I. Парижский обелиск

82. *...un faux temple antique* – Имеется в виду одна из богатейших в Париже церквей – церковь Мадлен (строилась в 1764 – 1842 гг.), воздвигнутая в подражание античным храмам.

la chambre des députés – Палата депутатов (законодательное собрание во Франции), местопребыванием которой после февральской революции 1848 г. стал Бурбонский дворец (построен в 1772 г.).

Sur l'échafaud de Louis Seize – С 1793 по 1795 г. на площади Согласия (в то время – площади Революции) стоял эшафот, где 21 января 1793 г. был гильотинирован Людовик XVI.

84. *l'ibis* – Белый ибис с окрашенными в черный цвет концами маховых перьев считался в Египте священной птицей, воплощением бога Тота (см. коммент. к с. 88).

le gypaète – Ястребы, коршуны и соколы в Египте были символами неба и считались божественными. Ястребу (соколу) поклонялись как воплощению бога света и добра Хора (Гора), считавшегося родоначальником фараонов.

des crocodiles – Крокодил олицетворял бога Себека, управлявшего водным царством и обеспечивавшего земное плодородие.

...le dernier des rois... – Имеется в виду Луи Филипп (1773 – 1850), бежавший в Англию после отречения от престола в феврале 1848 г.

le pschent – двойная красно-белая корона фараонов, символизировавшая их власть над Верхним и Нижним Египтом; *зд.*: головной убор египетских жрецов.

la bari mystique – обрядовая ладья египетских жрецов.

...les Solons – Солон (между 640 и 635 – ок. 559 до н. э.) – афинский законодатель, один из семи греческих мудрецов; Готье иронически применяет его имя к депутатам Национального собрания.

...les Arthurs – ироническое наименование сутенеров. Вместе с тем Артур – имя главного героя средневековых рыцарских романов, воплощающего идеи чести и благородства. На этом семантическом столкновении и основана ирония Готье.

II. L'Obélisque de Luxor II. Луксорский обелиск

88. *le cartouche* – картуш, овальная рамка, в которую заключались имена фараонов.

Thot – Тот, один из наиболее популярных богов в египетском пантеоне, "владыка Истины", воплощение ума и справедливости.

...le chacal miaule... – Шакал (или волк) в Египте был одним из местных хтонических божеств; он олицетворял бога Упуута – "открывателя путей", разведчика и проводника других богов.

VIEUX DE LA VIEILLE СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Впервые в *Revue des Deux Mondes* от 1 января 1850 г.

Непосредственным поводом к написанию стихотворения послужила демонстрация "ветеранов старой гвардии" в поддержку Республики, состоявшаяся 15 декабря 1849 г. (в девятую годовщину переноса праха Наполеона в Париж). Эмоциональным толчком для Готье явилась, вероятно, следующая заметка в "Ла Пресс" (16 декабря 1849 г.): "Странное зрелище можно было наблюдать нынешним утром на Вандомской площади. Между 10 и 11 часами здесь стали собираться и строиться в ряды последние оставшиеся в живых солдаты времен Империи. Большинство из них было в старых мундирах, расшитых блестящими, хотя и заржавелыми от времени галунами. Угасающие, иссохшие старички-горемыки горделиво задирали головы, украшенные драгунскими касками с длинными конскими хвостами или гусарскими шапками с плюмажем; из-под медвежьих шапок виднелись лица, сплошь испещренные морщинами <...>. Роскошь полуистлевших одеяний, облачавших полуживые тела, придавала Вандомской площади какой-то фантастический вид. Можно было подумать, что все эти тени собрались на тот самый знаменитый смотр, о котором рассказывается у немецкого поэта (Й. Х. Цедлица. – Г. К.) <...>. От иных фигур в театральных одеяниях времен Империи исходила молодая сила. Между тем эти удалы были по большей части лавочниками, мелкими торговцами, чиновниками; но человек, вызывавший смех, будучи одет в пиджачную пару или в редингот, становился почти величественным, когда его грудь облекала гвардейская кираса <...>. В полдень султаны над рядами заколебались,

словно мираж, и восьмидесятилетний улан развернул над собою знамя с надписью: "Старые из Старой – Французской Республики". Тогда красочная процессия, живое напоминание о нашей былой и страшной славе, медленно двинулась к Дому Инвалидов (месту захоронения останков Наполеона. – Г. К.) <...>. Их встречали со смешанным чувством инстинктивного ужаса и восхищения; люди задавали немой вопрос: неужто это и впрямь депутация с того света? И где тот новый Христос, который обратился к республиканским Лазарям, укутанным в саваны, со словами: "Встань и иди"?.. Добравшись до Дома Инвалидов, "Старые из Старой" (так их окрестили в народе, и они добродушно приняли это прозвище) были встречены восторженными кликами своих собратьев. "Да здравствует Республика!" – раздалось в ответ. "Да здравствуют привидения Старой гвардии!" – завопил мальчишка, который сидел верхом на пушке, приютившейся в тени эспланады. Все это зрелище не вызвало энтузиазма; оно возбуждало чувство растроганности, но растроганности подлинной, той, что стоит дороже всякого энтузиазма" (Цит. по кн.: *Poésies complètes de Théophile Gautier*, publiées par R. Jasinski. V. I. P. CVII – CIX).

Среди литературных источников стихотворения следует называть "Гренадеров" (1820) Г. Гейне и знаменитую балладу австрийского поэта Й. Х. Цедлица "Ночной смотр" (1832).

92. *(le) Gymnase* – драматический театр в Париже, основной репертуар которого составляли комедии нравов (Скриб, Ожье, Дюма-сын и др.).

Variétés – полн.: *Théâtre des Variétés*, театр на Монмартрском бульваре, где в первой половине XIX в. шли водевили.

Mob – Моб, персонаж аллегорической поэмы в прозе "Агасфер" (1833) Эдгара Кине (1803 – 1875), старуха, олицетворяющая смерть.

94. *Raffet* – Дени Огюст Мари Раффе (1804 – 1860), французский живописец, рисовальщик, гравер, прославлявший в своих картинах солдат времен Первой Республики и Империи; в частности, известна литография Раффе на сюжет "Ночного смотра" Цедлица.

(le) kolbach – военный головной убор, род меховой шапки.

un poussah – зд.: статуэтка сидящего буддийского божества, "болванчик".

96. *...de la Bérésina...* – Речь идет об отступлении Наполеона из России, когда французская армия с большими потерями перешла Березину.

...du Caire... – Одержав победу над мамелюками в битве у

пирамид (21 июля 1798 г.), французские войска вступили в Каир.

...à Wilna... – Наполеон занял Вильно через два дня после начала войны против России, 26 июня 1812 г.

Au pied de la colonne... – Имеется в виду Вандомская колонна, отлитая из вражеских пушек, взятых при Аустерлице, и воздвигнутая в 1810 г. "во славу Великой Армии".

TRISTESSE EN MER ТОСКА НА МОРЕ

Впервые в *Revue de Paris* от 1 июня 1852 г.

Стихотворение тематически примыкает к *Cærulei oculi* и посвящено Карлотте Гризи (см. коммент. на с. 333). В нем отразились воспоминания Готье о путешествии через Ла-Манш, когда, в ноябре 1843 г., он посетил Лондон, чтобы присутствовать на премьере своего балета "Пери" с Карлоттой в главной роли. В литературном отношении стихотворение написано под влиянием цикла "Северное море" Г. Гейне.

98. ...*Du brouillard et du suicide...* – Романтическому сознанию, один из штампов которого воспроизводит здесь Готье, Англия рисовалась как страна сплина и самоубийств.

À UNE ROBE ROSE К РОЗОВОМУ ПЛАТЬЮ

Впервые в *L'Artiste* от 15 февраля 1850 г.

Стихотворение посвящено Аглаэ Жозефине Саватье (1822 – ?), принявшей более звучное "светское" имя Аполлонии Сабатье. В 40 – 50-х гг. дом Аполлонии был одним из самых блестящих артистических салонов в Париже, где собирались такие поэты и художники, как Т. Готье, Ж.-Б. Клезенже, Э. Фейдо, Ж. Мейсонье, Дюма-отец, М. Дю Кан, Ш. Бодлер. Друзья окрестили Аполлонию "Президентшей" или "Председательницей", так как она была "сопредседательницей" художника Анри Монье на еженедельных обедах, устраивавшихся в ее доме. "Председательница" известна не только благодаря своей интимной связи с Готье, но и – в большей степени – благодаря тому, что в нее был влюблен Бодлер, недолгое время пользовавшийся взаимностью. В "Цветах зла" принято выделять "цикл Председательницы" ("цикл г-жи Сабатье"), начатый Бодлером в 1852 г.

104. ...*la princesse Borghèse* – Имеется в виду Мария Паулетта (Полина) Бонапарт (1780 – 1825), сестра Наполеона Бонапарта, вышедшая в 1803 г. замуж за принца Камилло Боргезе; была знаменита своей красотой.

Canova – Антонио Канова (1757 – 1822), итальянский скульптор-неоклассицист, изваявший статую Венеры Победительницы, моделью которой послужила Полина Бонапарт.

LE MONDE EST MÉCHANT СВЕТ ЖЕСТОК

Впервые в издании *Émaux et Camées* (1852).

Стихотворение адресовано жене Готье, Эрнесте, и написано как вариация на тему из "Лирического интермеццо" Г. Гейне ("Свет близорук, свет недалек, // И с каждым днем пошлет!.." – Пер. В. Коломийцова).

INÈS DE LAS SIERRAS ИНЬЕССА СЬЕРРЫ

Впервые в издании *Émaux et Camées* (1852).

Готье довольно точно следует сюжету новеллы Ш. Нодье "Инес де лас Сьеррас" (1837). При этом, подчеркивая "мрачное очарование" и "могильное сладострастие" призрачной героини Нодье, он стремится перенести их на испанскую танцовщицу Петру Камара, имевшую шумный успех на сцене театра "Жимназ" в 1851 г. Готье был настолько восхищен испанкой, что приобрел ее портрет на дереве ("Танцующая Петра Камара"), выполненный в 1852 г. французским художником Теодором Шассерио (1819 – 1856).

106. *une venta (учн.)* – постоялый двор.

Un vrai château d'Anne Radcliffe – Полуразрушенный готический замок – место действия большинства романов английской писательницы Анны Рэдклифф (1764 – 1823).

...*la griffe* // *Des chauves-souris de Goya* – Имеются в виду "Капричос" (1797 – 1798) – серия офортов, созданных испанским художником Франсиско Гойей (1746 – 1828).

Piranèse – Джованни Баттиста Пиранези (1720 – 1778), итальянский архитектор и гравер, автор альбома гравюр "Виды Рима", а также рисунков, где, отдаваясь фантазии, он изображал запутанные тюремные лабиринты.

110. *la divisa* (учн.) — бант, прикреплявшийся к шкуре быка; тореадор стремился сорвать бант, чтобы затем поднести его своей избраннице.

ODELETTE ANACREONTIQUE АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА

Впервые в *Revue de Paris* от 1 апреля 1854 г.

Оделетта — жанр, культивировавшийся Плеядой в XVI в. и вновь введенный в моду романтиками (В. Гюго, Ш.-О. Сент-Бёв и др.). Оделетта включала от 8 до 20 строк; задача автора состояла в том, чтобы в краткой и энергичной форме развить какую-либо неожиданную мысль или сравнение.

FUMÉE ДЫМ

Впервые в *Revue de Paris* от 15 ноября 1855 г.

В основу стихотворения положен мотив, известный со времен античности и возрожденный поэтами Плеяды. Ср. XXXI сонет: "Счастлив, кто, как Улисс..." из сборника "Сожаления" Ж. Дю Белле (1522 — 1560):

Когда увижу я — бог весть! какой порою —
В селенье милом вновь трубы знакомый дым,
Увижу тесный сад пред домиком моим, —
Владенье кровное, где душу успокою.

(Пер. Ю. Верховского)

В первой половине XIX в. этот мотив был подхвачен романтиками (Шатобриан, Жорж Санд, Сент-Бёв и др.).

APOLLONIE АПОЛЛОНИЯ

Впервые в *Revue de Paris* от 1 февраля 1853 г.

Стихотворение обращено к Аполлонии Сабатье (см. коммент. на с. 340). С литературной точки зрения оно свидетельствует о все большем предпочтении, которое, с начала 50-х гг., Готье начинает отдавать античной топике, тем самым сближаясь с Ш. Леконт де Лилем.

114. ...*du sacré vallon...* — Имеется в виду подножие горы Парнас, где были расположены Дельфы — общегреческий религиозный центр, знаменитый своим оракулом и храмом Аполлона.

...*la Pythie à Delphes...* — В сокровенной части храма Аполлона находился оракул (место, где давались прорицания). Доступ туда имела только пифия (жрица-вещательница), которая отпивала воды из священного ручья, жевала листья священного лавра, садилась на золотой треножник над расселиной скалы и, впад в экстатическое состояние, изрекала волю божества.

L'AVEUGLE СЛЕПОЙ

Впервые в *L'Artiste* от 6 июля 1856 г.

Вероятно, образ слепца был навеян Готье одной из реплик в новелле Э. Т. А. Гофмана "Угловое окно" (переведенной во Франции в 1856 г.): "Возможен ли более трогательный пример незаслуженного человеческого страдания и благочестивого кроткого смирения, покорности богу и судьбе? <... > Для меня нет зрелища более трогательного, чем слепой, когда он, подняв голову, как будто всматривается вдаль. Для несчастного угасли зори жизни, но духовными очами он стремится уже сейчас увидеть вечный свет, что сияет ему в мире ином, свет утешения, надежды и блаженства" (Пер. А. Федорова). Образ слепца был весьма популярен в эпоху романтизма, хотя и трактовался по-разному. Ср. стихотворение Бодлера "Слепые" (1860), написанное с позиций бунтарства:

А мне, когда их та ж сегодня, что вчера,
Молчанья вечного печальная сестра,
Немая ночь ведет по нашим стогам шумным

С их похотливой и наглой суетой,
Мне крикнуть хочется — безумному безумным:
Что может дать, слепцы, вам этот свод пустой?

(Пер. И. Анненского)

ЛИД ПЕСНЯ

Впервые в *Revue de Paris* от 1 января 1854 г.

Стихотворение написано под влиянием "песен" Гёте и Гейне.

116. ...*bacchante enivrée*... – Вероятно, этот образ родился у Готье под влиянием картины Луи Антуана Леона Риснера (1808 – 1878) "Вакханка". Готье видел это полотно еще в ателье художника, а позднее с похвалой отзывался о нем в печати (*Moniteur*, 6 октября 1855 г.).

FANTAISIES D'HIVER ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ

Впервые в *Revue de Paris* от 1 февраля 1854 г.

118. *Dans le bassin des Tuileries*... – В саду Тюильри по обеим сторонам центральной аллеи вырыты два бассейна, окруженных цветниками и массивами деревьев, расположенными в шахматном порядке.

120. *Phocion* – Фокион (402 – 318 до н. э.), афинский полководец и оратор.

Clodion – Клодион (наст. имя Клод Мишель, 1738 – 1814), французский скульптор, автор статуэток и многофигурных композиций на мифологические сюжеты ("Вакханалия", "Нимфы и сатиры" и др.).

Couzevox – Антуан Кузеве (1640 – 1720), французский скульптор, работавший для украшения сада Тюильри; в путеводителе "Иллюстрированный Париж" за 1853 г. упоминается, в частности, выполненная им скульптурная группа "Флора и Зефир", а также изваяния пастушек.

Coustou – Никола Кусту (1658 – 1733), французский скульптор. В упомянутом путеводителе фигурируют его работы "Зима", "Осень", равно как и статуи пастушек.

LA SOURCE КЛЮЧ

Впервые в *L'Artiste* от 30 мая 1858 г.

ВЪЩЕРС И ТОНБЕАУХ КОСТРЫ И МОГИЛЫ

Впервые в *L'Artiste* от 24 января 1858 г. с посвящением: "Г-ну Эрнесту Фейдо". Эрнест Фейдо (1821 — 1873) — французский писатель, автор шумевшего романа "Фанни" и др. произведений. В 1856 г. Фейдо выпустил книгу под названием "История похоронных обрядов и погребений у древних народов", за что и получил в кругу друзей прозвище "великого некрофила". В октябре 1857 г. Готье опубликовал рецензию на эту книгу, а в январе 1858 г. откликнулся стихотворением "Костры и могилы".

126. ...*ægipans...* — Эгипан — прозвище козлоногого бога Пана; в дальнейшем прозвище сатиров.

(*l'*) *éphèbe* — эфеб, юноша (с ироническим оттенком).

Trimalcion — Тримальхион, персонаж нравоописательного романа Гая Петрония (? — 66 н. э.) "Сатирикон", богатый вольноотпущенник. Готье имеет в виду эпизод под названием "Пир Тримальхиона", где гости предаются неумеренному винопитию и обжорству.

128. ...*Pan est mort!* — Имеется в виду выражение. "Умер великий Пан". Согласно Плутарху ("Об упадке оракулов"), в царствование императора Тиберия (прав. 14 — 37) кормчий корабля, плывшего из Пелопоннеса в Италию, услышал возглас: "Умер великий Пан". Позднее рассказ Плутарха был истолкован как известие о смерти Христа, знаменующее смену язычества христианством.

Il signe les pierres funèbres — Здесь возникает мотив средневековой "Пляски смерти" (строфы 14 — 24): скелет вовлекает в танец людей самых различных возрастов и общественных состояний. Фрески с изображением Пляски смерти украшали обычно стены церквей, часовен и кладбищ. Этот мотив проникал и в литературу (Ф. Вийон и др.). В 1515 г. Ганс Гольбейн Младший (1497 или 1498 — 1543) исполнил знаменитую серию гравированных миниатюр под названием "Образы смерти" (в обиходе — "Пляски смерти"). В 1538 г. они были впервые изданы в Лионе.

130. ...*les chapelles Pompadour...* — Имеется в виду стиль рококо, иногда называемый стилем Помпадур.

LE SOUPER DES ARMURES УЖИН ДОСПЕХОВ

Впервые в *Revue européenne* от 1 ноября 1859 г. (предпоследняя строфа добавлена в 1863 г.).

В тематическом отношении (обращение к эпохе рыцарства) это стихотворение перекликается с такими произведениями В. Гюго, как "Бургтрафы" (1843) и "Легенда веков" (1859). Непосредственным же литературным источником "Ужина доспехов" была, скорее всего, романтическая сказка немецкого писателя Фридриха де ла Мотт Фуке (1777 – 1843) "Синтрам и его сотоварищи" (1814). Ее сюжетом воспользовался также английский художник Гэттермол, написавший акварель "Сэр Бьорн со сверкающими глазами". Эта акварель выставлялась в Париже в 1855 г., и Готье с похвалой отзывался о ней.

132. (*le*) *cénobite* – кеновит, обитатель кеновии, небольшого монастыря, расположенного в отдаленном и уединенном месте; *зд.*: отшельник.

134. ...*landgraves* – В средневековой Германии ландграфами назывались князья, на которых лежала обязанность поддерживать мир и порядок на территории своего графства и в прилегающих землях.

...*rhingraves* – Рейнграфы – название графов Рейнской области.

...*burggraves* – Бургграф – начальник округа замка, выполнявший военные и судебные обязанности; по мере слияния округов замков в города власть бургграфов усиливалась.

LA MONTRE ЧАСЫ

Впервые в *Revue européenne* от 1 ноября 1859 г. под заглавием *La Montre arrêtée*. Седьмая строфа добавлена в 1863 г. в четвертом издании "Эмалей и камней".

142. *l'Hippogriffe* – Гиппогриф, сказочное животное, наполовину конь, наполовину грифон, описанное Ариосто в "Неистовом Роланде" (IV, 18).

...(*le*) *pays du Bleu* – Китай (французы называют Янцзы Голубой рекой).

LES NÉRÉIDES НЕРЕИДЫ

Впервые в издании *Émaux et Camées* (1853).

Источником стихотворения послужила не только упоминаемая акварель Теофила Квятковского (1809 – 1891) (у Готье

ошибочно Княтовский), но и картина Родольфа Генриха Лемана (1814 – 1882) "Феи вод" (Готье дважды писал о ней в "Ла Пресс" в марте 1837 г.). Кроме того, в начале 1851 г. в Салоне были выставлены "Нереиды" Эрнеста Огюстена Жандрона (1817 – 1881); Готье писал об этой картине в "Ла Пресс" 22 марта 1851 г. Наконец, известна роспись Ораса Верне (1789 – 1863) "Пароход, обращающий в бегство морских богов" (1847), украшавшая потолок в одном из помещений Палаты депутатов; название этого произведения непосредственно перекликается с сюжетом стихотворения Готье.

142. ...*Néréides* – нереиды, нимфы моря, живущие во дворце своего отца, морского бога Нерея; это прекрасные девушки в легких одеждах; поднимаясь на поверхность моря, они, в окружении дельфинов или тритонов, танцуют в такт волнам; нереиды блажелательны к людям и помогают морякам.

144. ...*Tritons* – тритоны, второстепенные божества, олицетворяющие морскую стихию.

146. *l'Archipel* – Архипелаг, древнее название Эгейского моря.

Et les dauphins... – Имеется в виду легенда, согласно которой дельфин, зачарованный пением певца Ариона, пришел на его зов и вынес его из морских волн.

LES ACCROCHE-CŒURS ПОДВЕСКИ ДЛЯ СЕРДЕЦ

Впервые в *Revue de Paris* от 1 января 1853 г.

146. *Mab* – королева Маб, персонаж английского фольклора: фея, владычица сна и грез. Подробное описание королевы Маб и ее атрибутов (в том числе ореховой скорлупки, служащей ей колесницей) можно найти в трагедии У. Шекспира "Ромео и Джульетта" (I, 4). См. также философскую поэму П.-Б. Шелли "Королева Маб" (1813).

LA ROSE-THÉ ЧАЙНАЯ РОЗА

Впервые в четвертом издании *Émaux et Camées* (1863).

Стихотворение посвящено юной Клотильде Марии Терезе Савойской, дочери итальянского короля Виктора Эммануила II и жене принца Наполеона, брата принцессы Матильды (см. о ней коммент. на с. 353).

Впервые в *Revue fantaisiste* от 15 апреля 1861 г. под названием: *Vieille guitare romantique: Carmen*.

Готье рисует образ знаменитой цыганки, опираясь на новеллу П. Мериме "Кармен" (1846); вместе с тем зрительный ряд был подсказан ему картиной Эдма Алексиса Альфреда Деоданка (1822 – 1882) "Цыгане и цыганки, возвращающиеся с праздника в Андалузии", выставленной в Салоне в 1853 г.

CE QUE DISENT LES HIRONDELLES ЧТО ГОВОРЯТ ЛАСТОЧКИ

Впервые в *Moniteur universel* от 19 сентября 1859 г.

Мотив, положенный в основу стихотворения, был весьма характерен для романтической литературы. Готье позаимствовал его у немецкого поэта Фридриха Рюккерта (1788 – 1866), чье стихотворение "Дайте мне крылья..." перевел на французский язык; ср. также "Замогильные записки" (IV, 5, 6) Шатобриана и четвертое стихотворение (1828) из цикла "Заходящие солнца" (сб. "Осенние листья") В. Гюго, написанное в подражание Рюккерту.

152. *(les) métopes* – метопы, часть фриза в дорическом храме: пустые пролеты между триглифами (см. ниже), в которые ставились сосуды или статуи.

les Hadjis – хаджи, мусульманский паломник, совершивший хадж, паломничество в Мекку.

154. *un triglyphe* – триглиф, часть фриза, продолговатый выступ, изображающий концы лежащих на архитраве балок, идущих внутрь здания; в триглифы врезаны вертикальные желобки (каннелюры).

Balbeck – Баальбек, город на территории современного Ливана, расположенный в долине Бекаа; в древности принадлежал финикийцам, затем (под названием Гелиополь) грекам и римлянам, воздвигнувшим там многочисленные солнечные храмы.

Rhodes, palais des chevaliers – Речь идет о духовно-рыцарском ордене иоаннитов (впоследствии Мальтийский орден), в 1309 г. переселившихся на о. Родос; отсюда другое название: Родосские рыцари.

A la seconde cataracte... — Очевидно, имеется в виду Абу-Симбельский храм, построенный при Рамсесе II за вторым порогом Нила; перед храмом высятся четыре гигантские статуи фараона.

NOËL РОЖДЕСТВО

Впервые в *Le Papillon* от 10 января 1861 г.

LES JOUJOUX DE LA MORTE ИГРУШКИ МЕРТВОЙ

Впервые в *Revue nationale et étrangère* от 10 ноября 1860 г.

Стихотворение написано на смерть трехлетней Марии, дочери Джулии Гризи (1811 — 1869). Джулия Гризи — известная итальянская оперная певица, выступавшая в парижских театрах; она была родной сестрой Джудитты Гризи (см. коммент. к с. 72) и кузиной Эрнесты Гризи (жены Готье) и Карлотты Гризи. Намек на Джулию, чьим голосом и красотой Готье восхищался с юности, содержится в предисловии к "Мадемуазель де Мопен" (1837); ей же посвящена элегия "Дива" (сборник "Комедия смерти", 1838).

158. *Franconi* — Франкони, итальянская династия верховых наездников. Натурализовавшись во Франции в XVIII в., Франкони были известны в течение всего следующего столетия не только как цирковые артисты, но и как придворные шталмейстеры, дававшие царствующим особам уроки верховой езды. Виктор Франкони открыл в 1846 г. первый во Франции ипподром.

«*Ah! vous dirai-je, tatan?*» — французская популярная песенка, модная в эпоху Второй империи.

le «Quadrille des Lanciers» — кадрили уланов, танец, пришедший во Францию из Англии в середине XIX в.

la Donna è mobile — "Женщина непостоянна"; начальные слова арии Герцога из оперы Джузеппе Верди "Риголетто" (1851).

APRÈS LE FEUILLETON ПОСЛЕ ФЕЛЬЕТОНА

Впервые в *Revue nationale et étrangère* от 10 декабря 1861 г. Будучи журналистом, репортером по своей основной профес-

сии, Готье за 40 без малого лет работы в периодической прессе написал тысячи статей. При этом он весьма двойственно относился к своей "журналистской каторге". С одной стороны, он постоянно жаловался на нее, уверяя, что она отнимает все время, которое могло бы быть посвящено художественному творчеству (известно множество нереализованных замыслов Готье, среди которых фундаментальная книга "Венеция в XVIII столетии"). Вместе с тем в подобных жалобах, несомненно, проглядывало кокетство блестящего журналиста-профессионала, знающего себе цену, легко и с удовольствием выполняющего повседневную работу публициста и художественного критика. Эти настроения как раз и отразились в стихотворении "После фельетона". Напомним в этой связи, что фельетоном в XIX в. называли особый отдел (обыкновенно в нижней половине газеты), где публиковались статьи литературно-художественного, публицистического или научного характера.

LE CHÂTEAU DU SOUVENIR ДВОРЕЦ ВОСПОМИНАНИЙ

Впервые в *Moniteur universel* от 29 декабря 1861 г.

Тема стихотворения была навеяна Готье немецкими романтиками — Г. Гейне, Людвигом Ахимом фон Арнимом (1781 — 1831) как автором романа "Графиня Долорес" (1810) и в особенности стихотворением "Замок Бонкур" (1826) Адельберта фон Шамиссо (1781 — 1838), неоднократно переводившимся на французский язык, в том числе и самим Шамиссо. Значительная часть стихотворения посвящена воспоминаниям о подругах и друзьях молодости.

162. *Ariane* (греч. миф.) — Ариадна, дочь Миноса и Пасифаи; когда на Крит прибыл Тесей, обреченный на съедение Минотавру, обитавшему в лабиринте, Ариадна вручила герою клубок, разматывая который он смог выбраться на волю.

166. *Daphné* — Готье имеет в виду миф, согласно которому нимфа Дафна, преследуемая Аполлоном, взмолилась о помощи к богам и была превращена в лавр, ставший священным деревом Аполлона.

Apollon, chez Admète... — Адмет, фессалийский герой, царь Фер. Аполлон, искупая убийство киклопов, служил пастухом у Адмета.

Et je vois mon défunt amour... – В этой и следующих четырех строфах речь идет о подруге юности Готье, некоей Нинетт, которой в кругу богемы дали более поэтическое имя – Сидализа. Сидализа умерла в 1836 г., и Готье, искренне переживший эту утрату, неоднократно вспоминал в стихах о своей возлюбленной. Для него и его друзей по "тупичку Дуайенне" Сидализа стала символом безвременно погибшей красоты. Много лет спустя Арсен Уссе, стоявший рядом с Готье у гроба Сидализы, писал: "Смерть оставила на этом юном лице отпечаток такого целомудрия и нежности, что я был тронут до слез". Сидализа запомнилась и Жерару де Нервалю (см. его "Маленькие замки богемы", 1852). В стихотворении "Сидализы" он употребляет это имя в нарицательном смысле для обозначения подруг поэтов и художников. "Сидализы" отчетливо перекликаются по тону с комментируемыми строфами:

СИДАЛИЗЫ

Нет возлюбленных нежных:
Все из жизни ушли!
В горних высях безбрежных
Все покой обрели!

В небесах, что бездонны,
Они дивно светлы
И пред ликом мадонны
Ей возносят хвалы.

В белоснежном уборе,
В тонких пальцах цветы...
О любовь, что, как горе,
Не щадит красоты!..

Были милые взгляды
Вечной синью полны...
Свет угасшей лампы,
Воссияй с вышины!

(Пер. Ел. Баевской)

168. *La nature, de l'art jalouse...* – В этой и следующих четырех строфах речь идет о другой подруге юности Готье, Эжени Фор, внешностью напоминавшей испанку или испанскую цыганку,

что позволило Готье сравнить Эжени с испанской танцовщицей Петрой Камара (см. коммент. на с. 341); в 1836 г. Эжени Фор родила Готье его первого сына, Тото.

Murillo – Бартоломе Эстебан Мурильо (1618 – 1682), испанский художник; возможно, Готье имеет в виду его полотно "Цыганская Мадонна" (музей г. Экс-ан-Прованс).

l'Alhambra – Альгамбра, позднемавританский дворцовый комплекс (сер. XIII – кон. XIV вв.), расположенный в восточной части Гранады; отличается пышностью и изяществом внутреннего убранства.

Plus loin une beauté robuste... – В этой и следующих четырех строфах речь идет еще об одной возлюбленной Готье, некоей Викторине.

170. *Dans son pourpoint de satin rose...* – намек на знаменитый "красный жилет" (или камзол, как уточнял сам Готье), в котором Готье явился на премьеру "Эрнани" (см. Предисловие, с. 7, а также: Готье Т. История романтизма // Готье Т. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. М., 1972. С. 530 – 535).

Boulanger – Луи Кандид Буланже (1806 – 1867), французский художник, исполнивший портреты многих знаменитых французских писателей (Бальзак, Гюго и др.).

Devéria – Жан Мари Ашиль Девериа (1800 – 1857), французский художник, автор портретов знаменитых современников (Лист, Гюго и др.).

Quand d'Hernani sonnait le cor – Имеется в виду премьера драмы Гюго "Эрнани" 25 февраля 1830 г.

172. *Comme les pirates d'Otrante...* – аллюзия на "Песню морских искателей приключений" В. Гюго, входящую в его "Легенду веков".

174. *L'un étale sa barbe rousse...* – Речь идет о художнике Камиле Рожье, носившем великолепную рыжую бороду (бороды были в моде в эпоху романтизма). Рожье был одним из лидеров кружка, куда в молодости входил Готье.

Comme Frédéric dans son roc... – Имеется в виду Фридрих I Барбаросса (ок. 1125 – 1190), германский король и император Священной Римской империи (с 1152). Согласно преданию, Фридрих не погиб, а спит в горах Тюрингии (в подземном гроте Кифгейзер), ожидая, когда снова сможет выйти на свет, чтобы вернуть Германии ее величие.

Pétrus – Петрюс Борель (наст. имя Пьер Борель д'Отрив, 1809 – 1859), французский писатель, друг Готье.

Celui-là me confie un drame... – Имеется в виду Жозеф Бушар-

ди (1810 – 1870), драматург, автор мелодрам, с успехом шедших в театрах на Бульварах.

Tom – Возможно, имеется в виду Жюль Вабр (см. наст. изд. С. 305); англоман, Вабр мечтал создать идеальный перевод Шекспира на французский язык, чем и объясняется упоминание шекспировской комедии "Бесплодные усилия любви" (о Вабре см.: Готье Т. История романтизма. С. 496 – 502).

Fritz – Фриц, один из псевдонимов Жерара де Нерваля. Готье тем самым намекает на увлечение Нерваля немецкой литературой, в частности на выполненный им в 1828 г. перевод первой части "Фауста", удостоившийся похвалы самого Гёте (см. запись Эккермана от 3 января 1830 г.; см. также: Готье Т. История романтизма. С. 480).

CAMÉLIA ET PÂQUERETTE КАМЕЛИЯ И МАРГАРИТКА

Стихотворение написано в июне 1849 г. в альбом Регине Лом. Впервые опубликовано в шестом издании *Émaux et Camées* (1872).

LA FELLAN ФЕЛЛАШКА

Стихотворение датировано 21 мая 1861 г.; включено в состав сборника "Двенадцать сонетов" (1869), посвященных принцессе Матильде (1820 – 1904), дочери Жерома Бонапарта. Литературно-художественный салон принцессы Матильды посещали И. Тэн, Э. Ренан, Ш.-О. Сент-Бёв, Гонкуры, Флобер и др.

Принцесса Матильда была художницей-любительницей. Стихотворение "Феллашка" представляет собой экфрасис одной из ее акварелей, имевшей пару – акварель, изображавшую "черного раба". Стихотворение "Черный раб" не публиковалось при жизни Готье. В состав "Эмалей и камей" оно было включено лишь однажды – в издании Р. Шарпантье, вышедшем в 1884 г., где оно следует сразу после "Феллашки".

Stances sur une aquarelle de la princesse M...

Un bel esclave à peau d'ébène,
Mohammed ou bien Abdallah,
Pour mon musée, heureuse aubaine,
Vient du pays de «la Fellah».

Comme elle, il habitait le Caire,
Tout en fumant son latakieh,
Il la voyait passer naguère
Sur la place de l'Esbekieh.

Elle si blanche sous son masque,
Lui, si lumineusement noir;
L'une agaçant l'amour fantasque
Et l'autre en plein se laissant voir.

Faveur charmante, honneur insigne!
Mais voudra-t-il servir chez nous,
Ce glorieux nègre que signe
Une main qu'on baise à genoux?

178. *Tous les Œdipes...* – аллюзия на загадку, которую задал Эдипу Сфинкс, охранявший дорогу в Фивы.

...*Isis légua ses voiles...* – Покрывало – один из атрибутов египетской и греко-римской богини Исида (богини плодородия, жизни и здоровья).

LA MANSARDE МАНСАРДА

Стихотворение написано в 1840-е гг.; впервые опубликовано в издании *Étaux et Camées* (1872).

“Мансарда” представляет собой воспроизведение модного в романтической культуре топоса “студенты и гризетки”; имя Риголетта перекликается с именем героини “Парижских тайн” Э. Сю, имя Марго – с именем лирической героини П.-Ж. Беранже и т. п.; в 7-й строфе – прямая аллюзия на знаменитую песню Беранже “Чердак” (1828).

180. *Monbro* – имя парижского мебельщика.

182. *Bréda* – улица и квартал в Париже, где, в частности,

располагались увеселительные заведения.

Devant Minet, qu'elle chapitre – Гумилев заменяет этот образ более "суровым" образом старухи, погруженной в "Четы Миней" (церковный сборник, содержащий жития святых, "слова" и поучения, расположенные по месяцам в соответствии с днями памяти каждого святого; предназначен для назидательного чтения).

LA NUE ТУЧКА

Впервые в *Revue du XIX^e siècle* от 1 января 1866 г. В рукописи стоит пометка: "Четверг, 15 марта, ночью. В вагоне между Женевой и Парижем". Стихотворение посвящено Карлотте Гризи, которая в 1850 г. оставила сцену и поселилась в имении Сен-Жан (под Женевой), принадлежавшем некоему польскому князю. Летом 1865 г. Готье с двумя дочерьми гостил у Карлотты; воспоминание об этих днях и послужило поводом для написания стихотворения "Тучка".

182. *Corrège* – Корреджо (наст. имя Антонио Аллегри, ок. 1489 – 1534), итальянский художник. Готье имеет в виду его картину "Антиопа" (Лувр), написанную на мифологический сюжет: к спящей Антиопе подкрадывается Зевс, принявший обличье сатира.

184. *«l'éternel féminin»* – Реминисценция из Гёте (заключительные строки "Фауста"): "Вечная женственность // Тянет нас к ней".

Ixion – Иксион, мифологический герой, царь лапифов. Приглашенный на Олимп, Иксион стал добиваться любви Геры; Зевс создал призрак Геры в виде облака, которым и овладел Иксион.

LE MERLE ДРОЗД

Впервые в *Revue du XIX^e siècle* от 1 октября 1866 г. В рукописи помечено: "12 марта 1866 г., вилла Гризи".

186. *L'Arve jaunit le Rhône bleu...* – Вилла Карлотты Гризи находилась у слияния Роны и Арва. Вода Роны, вытекающей из Женевского озера, чиста, тогда как Арв несет желтый ил; слившись в одно русло, воды Роны и Арва на протяжении нескольких километров не смешиваются.

LA FLEUR QUI FAIT LE PRINTEMPS ЦВЕТOK, ЧТО ДЕЛАЕТ ВЕСНУ

Впервые в *Revue du XIX^e siècle* от 1 августа 1866 г. Первоначальное заглавие стихотворения, написанного 21 марта 1866 г., — *Les Marronniers de Saint-Jean*.

Включая стихотворение в сборник "Эмали и камней", Готье изменил его концовку. В первоначальном варианте вместо последних трех строк содержалось обращение к каштановым деревьям:

Je pars; adieu. — Le vrai sourire,
Le vrai bouquet, le vrai printemps,
Ce n'est pas vous, il faut le dire;
Je n'attendrai pas plus longtemps.

Sous le ciel d'azur ou de brume;
Une fleur rare s'ouvre ici,
Qui toujours rayonne et parfume;
Son nom est: Carlotta Grisi.

Эти строфы раскрывают интимный смысл стихотворения: "цветок, что делает весну", — это Карлотта Гризи. В окончательной редакции Готье метонимически зашифровывает ее имя, упоминая вместо него "фиалку", поскольку, как уже говорилось, Карлотта всегда была для Готье "женщиной с фиалковыми глазами".

DERNIER VŒU ПОСЛЕДНЯЯ МОЛЬБА

Впервые в издании *Émaux et Camées* (1872).

190. *J'ai les hivers, vous les printemps* — реминисценция из стихотворения Ж.-П. Беранже "Моя сверстница":

J'eus les hivers et les automnes,
Vous les étés et les printemps.

PLAINITIVE TOURTERELLE ПЕЧАЛЬНАЯ ГОЛУБКА

Впервые в мае 1840 г. Впоследствии Готье, вероятно, забыл об этом раннем стихотворении и по настоянию друзей включил его лишь в последнее издание "Эмалей и камней".

LA BONNE SOIRÉE ХОРОШИЙ ВЕЧЕР

Впервые в *Paris-Magazine* от 22 марта 1868 г.

Комментарием к стихотворению может служить запись Гонкуров: «Он (Готье. — Г. К.) говорит о чувстве глубочайшей досады, которое вызывает в нем борьба двух людей: когда все уже готово, чтобы отправиться с визитом, один из них вдруг заявляет: "Ложись-ка ты лучше на диван, нечего тебе там делать!" Но стоит ему улечься, как подает голос другой: "Ступай, там ты развеешься"» (запись в "Дневнике" от 14 марта 1864 г.).

198. «*Intermezzo*» — "Лирическое интермеццо" (1823), цикл стихов Г. Гейне, позднее вошедший в его "Книгу песен".

le «*Thomas Grain-d'orge*» — нравоописательная повесть французского философа и историка культуры Ипполита Тэна (1828 — 1893) "Парижские нравы. Жизнь и размышления Фредерика Томаса Грэндоржа" (1867).

Les deux Goncourt... — Имеются в виду не сами Гонкуры, а два их произведения — очерк "Латур" и роман "Манетт Саломон" (оба изданы в 1867 г.).

L'ART ИСКУССТВО

~ Впервые в *L'Artiste* от 13 сентября 1857 г. под названием: *A Monsieur Théodore de Banville; réponse à son Odelette*. Т. де Банвиль (1823 — 1891), ученик Готье, близкий к парнасцам, опубликовал в мае 1856 г. следующее стихотворение:

A Th. Gautier

Quand sa chasse est finie,
Le poète oiseau
Manie
L'outil du ciseau.

Car il faut qu'il meurtrisse
Pour y graver son pur
Caprice
Un métal au cœur dur.

Pas de travail commode!
Tu prétends, comme moi,
Que l'Ode
Garde sa vieille loi,

Et que, brillant et ferme,
Le beau Rythme d'airain
Enferme
L'Idée au front serein.

Les Strophes, nos esclaves,
Ont encore besoin
D'entraves
Pour regarder plus loin.

Les pieds blancs de ces reines
Portent le poids réel
Des chaînes,
Mais leurs yeux voient le ciel.

Et toi, qui nous enseignes
L'amour du vert laurier,
Tu daignes
Être un bon ouvrier.

Mai 1856.

Позднее текст этого стихотворения (с изменениями) был включен Т. де Банвилем в сборник "Изгнанники" (1874).

Развивая тему, предложенную Банвилем, Готье ответил ему, используя тот же стихотворный метр.

Г. Косиков





TABLE DES MATIÈRES

СОДЕРЖАНИЕ

Теофиль Готье, автор "Эмалей и камей". *Г. Косиков* . . . 5

ÉMAUX ET CAMÉES

ЭМАЛИ И КАМЕИ. *Перевод Н. Гумилева*

Préface 30

Предисловье 31

Affinités secrètes 32

Тайное сродство 33

Le Poème de la femme 36

Поэма женщины 37

Étude de mains

Этюд рук

I. Impéria 42

I. Империя 43

II. Lacenaire 44

II. Лаценер 45

Variations sur le Carnaval de Venise

Вариации на тему Венецианский карнавал

I. Dans la rue 48

I. На улице 49

II. Sur les lagunes 50

II. На лагунах 51

III. Carnaval	52
III. Карнавал	53
IV. Clair de lune sentimental	54
IV. Сантиментальный свет луны	55
Symphonie en blanc majeur	56
Симфония ярко-белого	57
Coquetterie posthume	62
Загробное кокетство	63
Diamant du cœur	64
Алмаз сердца	65
Premier sourire du printemps	66
Первая улыбка весны	67
Contralto	68
Контральто	69
Cærulei oculi	74
Cærulei oculi	75
Rondalla	78
Рондалла	79
Nostalgies d'obélisques	
Ностальгия обелисков	
I. L'Obélisque de Paris	82
I. Парижский обелиск	83
II. L'Obélisque de Luxor	86
II. Луксорский обелиск	87
Vieux de la Vieille	92
Старая гвардия	93
Tristesse en mer	98
Тоска на море	99

A une robe rose	102
К розовому платью	103
Le Monde est méchant	104
Свет жесток	105
Inès de las Sierras	106
Иньесса Сиерры	107
Odelette anacréontique	112
Анакреонтическая песенка	113
Fumée	112
Дым	113
Apollonie	114
Аполлония	115
L'Aveugle	114
Слепой	115
Lied	116
Песня	117
Fantaisies d'hiver	118
Зимние фантазии	119
La Source	122
Ключ	123
Bûchers et Tombeaux	124
Костры и могилы	125
Le Souper des armures	132
Ужин доспехов	133
La Montre	140
Часы	141
Les Néréides	142
Нереиды	143

Les Accroche-cœurs	146
Подвески для сердец	147
La Rose-thé	148
Чайная роза	149
Carmen	150
Кармен	151
Ce que disent les hirondelles	152
Что говорят ласточки	153
Noël	156
Рождество	157
Les Joujoux de la morte	156
Игрушки мертвой	157
Après le feuilleton	158
После фельетона	159
Le Château du Souvenir	160
Дворец Воспоминаний	161
Camélia et Pâquerette	176
Камелия и маргаритка	177
La Fellah	178
Феллашка	179
La Mansarde	178
Мансарда	179
La Nue	182
Тучка	183
Le Merle	184
Дрозд	185
La Fleur qui fait le printemps	186
Цветок, что делает весну	187

Dernier vœu	190
Последняя мольба	191
Plaintive tourterelle	192
Печальная голубка	193
La Bonne soirée	194
Хороший вечер	195
L'Art	198
Искусство	199

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тайные слияния. <i>Перевод А. Эфрон</i>	206
Женщина-поэма. <i>Перевод В. Бенедиктова</i>	208
Поэма женщины. <i>Перевод Ю. Даниэля</i>	211
Этюды рук. <i>Перевод М. Касаткина</i>	
1. Империя	213
2. Ласенер	215
Венецианский карнавал. Вариации. <i>Перевод О. Чюминой</i>	
I. На улице	216
II. На лагунах	217
III. Карнавал	218
IV. При лунном свете	219
Вариации на тему "Венецианского карнавала"	
1. На улице. <i>Перевод А. Эфрон</i>	220
2. Лагуны. <i>Перевод В. Портнова</i>	221
3. Карнавал. <i>Перевод В. Портнова</i>	222
4. Сентиментальный лунный свет. <i>Перевод А. Эфрон</i>	224
Мажорно-белая симфония. <i>Перевод Б. Дубина</i>	225
Посмертное кокетство. <i>Перевод А. Эфрон</i>	227

Алмаз сердца. <i>Перевод Б. Лившица</i>	228
Алмаз сердца. <i>Перевод М. Касаткина</i>	230
Ожидание весны. <i>Перевод О. Чюминой</i>	231
Первая улыбка весны. <i>Перевод В. Брюсова</i>	232
Первая улыбка весны. <i>Перевод Г. Кружкова</i>	233
Rondalla. <i>Перевод А. Эфрон</i>	234
Rondalla. <i>Перевод В. Левика</i>	236
Ностальгия обелисков	
Парижский обелиск. <i>Перевод Ю. Даниэля</i>	238
Луксорский обелиск. <i>Отрывок.</i>	
<i>Перевод В. Брюсова</i>	240
Луксорский обелиск. <i>Перевод Г. Кружкова</i>	241
Ветераны старой гвардии. <i>Перевод Г. Кружкова</i>	244
Печаль в море. <i>Перевод Г. Кружкова</i>	247
Свет беспощаден... <i>Перевод А. Эфрон</i>	249
Инес де лас Сьеррас. <i>Перевод М. Квятковской</i>	250
Анакреонтическая короткая ода. <i>Перевод Ю. Даниэля</i>	253
Дым. <i>Перевод А. Наль</i>	254
Аполлония. <i>Перевод Ю. Даниэля</i>	254
Слепой. <i>Перевод Б. Дубина</i>	255
Lied. <i>Перевод М. Касаткина</i>	256
Зимняя фантазия. <i>Перевод О. Чюминой</i>	256
Причуды зимы. <i>Перевод А. Эфрон</i>	259
Ручей. <i>Перевод О. Чюминой</i>	261
Родник. <i>Перевод В. Левика</i>	262
Костры и могилы. <i>Перевод Ю. Даниэля</i>	263

Ужин доспехов. Перевод А. Якобсона	267
Нереиды. Перевод Ю. Даниэля	271
Локоны. Перевод Б. Лившица	273
Чайная роза. Перевод В. Микушевича	273
Кармен. Перевод О. Чюминой	274
Кармен. Перевод В. Брюсова	275
Кармен. Перевод А. Эфрон	276
Что говорят ласточки. Перевод В. Микушевича	277
После фельетона. Перевод В. Микушевича	279
Замок Памяти. Перевод М. Касаткина	280
Камелия и фиалка. Перевод М. Касаткина	287
Мансарда. Перевод В. Портнова	289
Облако. Перевод В. Микушевича	290
Дрозд. Перевод В. Левика	292
Последнее желание. Перевод А. Эфрон	293
Уютный вечер. Перевод В. Левика	293
Славный вечерок. Перевод А. Эфрон	296
Искусство. Перевод В. Брюсова	298
Искусство. Перевод А. Эфрон	300

КОММЕНТАРИИ

Готье и Гумилев. Г. Косиков	304
Комментарии. Г. Косиков	322

Теофиль Готье
ЭМАЛИ И КАМЕИ
Сборник

**На французском языке с параллельным
русским текстом**

Составитель ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КОСИКОВ

ИБ № 4739

Издательский редактор Р. Кабина
Художник Н. Каминский
Художественный редактор П. Иващенко
Технический редактор Е. Колосова
Корректоры Г. Иванова, Г. Кухтина

Сдано в набор 18.11.88. Подписано в печать 13.07.89.
Формат 70x100/32. Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман.
Печать офсет. Усл. печ. л. 14,83. Усл. кр.-отт. 15,63.
Уч.-изд. л. 16,32. Тираж 39000 экз. Заказ № 1484. Цена 1 р. 80 к.
Изд. № 5251.

Издательство "Радуга" В/О Совэкспорткнига Государственного
комитета СССР по печати.

119859, Москва, ГСП-3, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано способом фотоофсет на Можайском
полиграфкомбинате В/О Совэкспорткнига Государственного
комитета СССР по печати.

143200, Можайск, ул. Мира, 93.